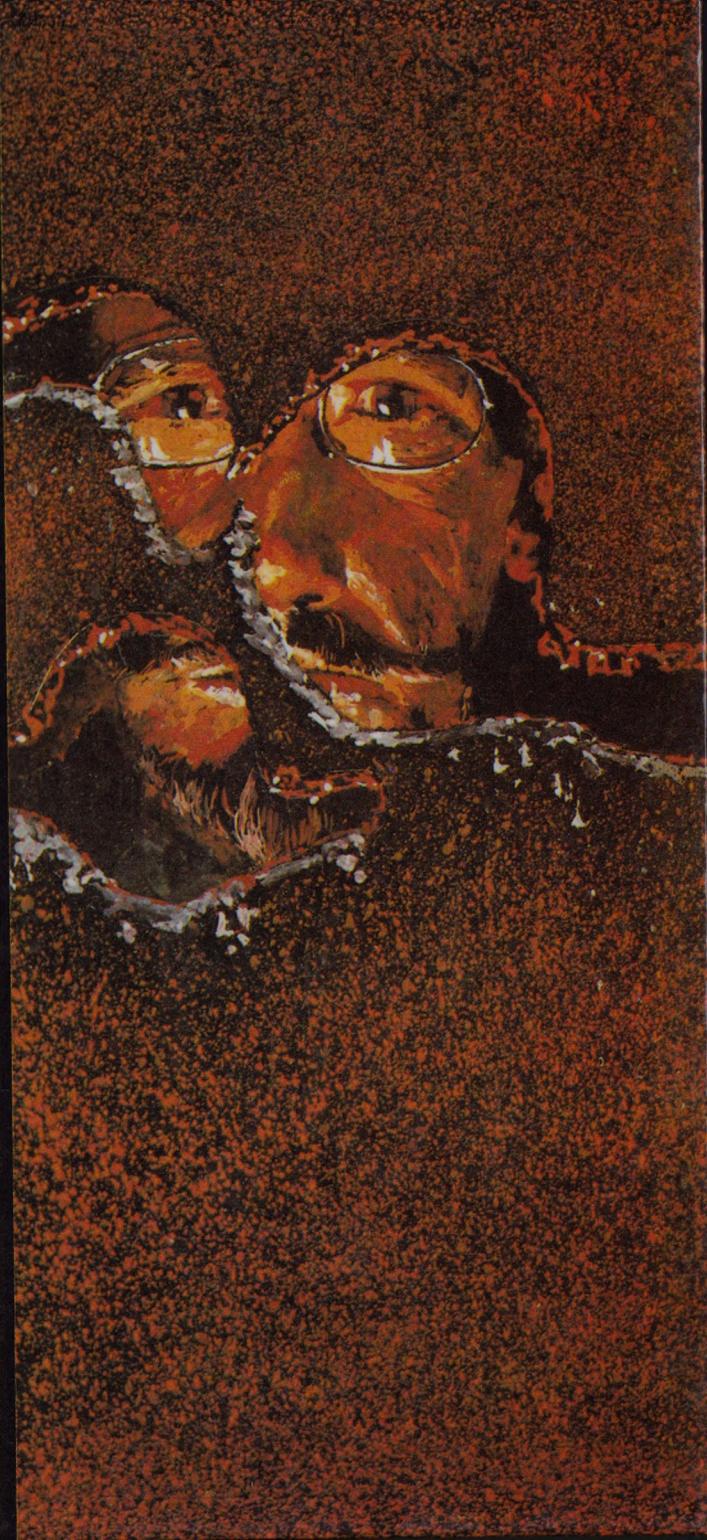


БИБЛИОТЕКА
ИМЕННИКИ

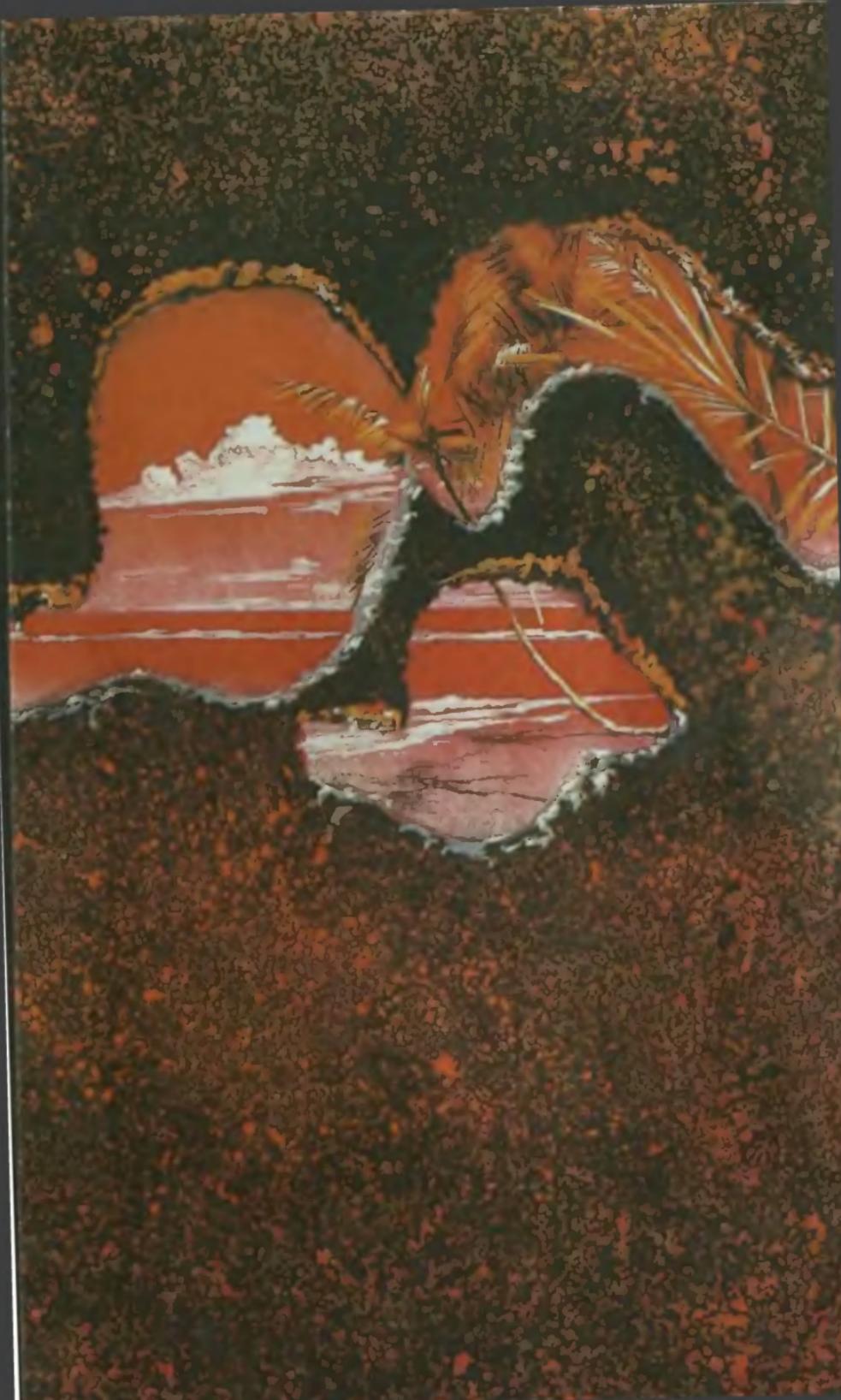
Алексей Толстой

Аэлита
Гиперболоид инженера Гарина

02



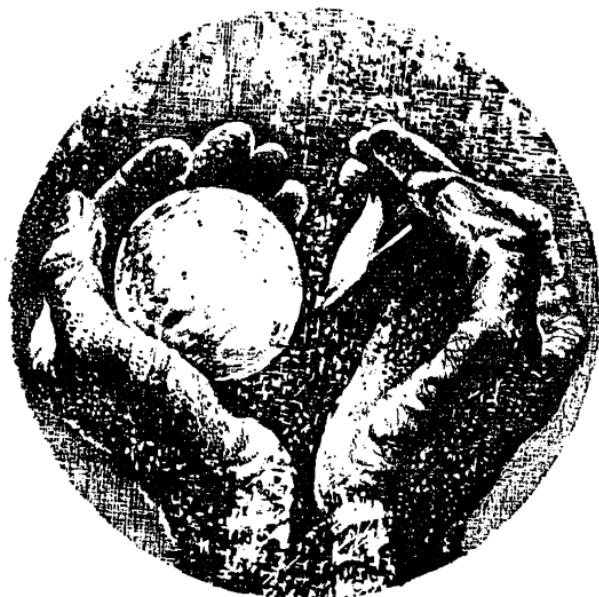




„Библиотека фантастики“ в 24 томах

БИБЛИОТЕКА
ФАНТАСТИКИ
02

Редакционная
коллегия
серии
«Библиотека
фантастики»
А. П. Казанцев
(председатель)
Д. А. Жуков
В. П. Карцев
А. П. Кешоков
А. П. Кулешов
А. А. Леонов
В. Д. Петров
Е. И. Парнов



Атолстокъ

Алексей

Аэлита

Гиперболоид инженера Гарина Москва. Издательство «Правда». 1986

84 Р 7
Т 52

Вступительная статья
Дмитрия Жукова

Иллюстрации
Сергея Базилева

Т $\frac{4702010200-1052}{080(02)-86}$ 1052-86 (подписано)

© Издательство «Правда», 1986.
Вступительная статья. Иллюстрации.

Фантастическая дерзость

На все есть мода. И на фантастику тоже. И нет ничего убийственнее скуки, обычного удела тех произведений, авторы которых пишут лишь в угоду читающей публике своего времени. Дерзость, не освященная талантом, на поверку оказывается манерничанием.

Счастливое сочетание необыкновенного таланта, знания жизни и художнической дерзости неотъемлемо от огромного, нимало не поступкневшего с годами литературного наследия Алексея Николаевича Толстого.

Великого фантастического дара был исполнен этот человек. Читашь самые его реалистические вещи и удивляешься... непостижимой игре воображения. Писатель признавался жене, Наталии Крандиевской, что с детства любил сказки, легенды, предания, мечтал написать «роман с привидениями, с подземельем, с зарытыми кладами, со всякой чертовщиной...».

Фантазировать любят многие, особенно в молодые годы. Но фантазировать тоже нужно умеючи и вдохновенно. Иной писатель, избравший фантастику делом своей жизни, вымучивает выдумку так, что самому становится скучно. Нелегко писать, чтобы казалось, будто слово само «с языка скатилось». Для этого надо много думать, настраивать себя, надо замахиваться дерзко и трудиться до испарины, хотя вроде бы писательское дело и малоподвижное. Кажущаяся легкость письма Алексея Николаевича Толстого обманчива. Зато дерзость его в обращении со словом очевидна.

Но доскажем то, в чем признавался Алексей Толстой жене: «Насчет привидений это, конечно, ерунда. Но знаешь, без фантастики скучно все же художнику, благоразумно как-то... Художник по природе — враль — вот в чем дело!»

Разве не согласуется это с народным: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»? Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Не счесть изданий научно-фантастических произведений Алексея Толстого. В иные годы их тираж приближался к миллиону экземпляров. Резко увеличилось число книг и статей о жизни и творчестве писателя. И, может быть, еще одна была бы лишней, если бы во многих работах о Толстом его фантастика не упоминалась вскользь, а в специальных изданиях не освещалась несколько однобоко, вне связи со всем строем и стилистикой его творчества.

Обычно читатель ищет в предисловиях прежде всего соотнесенности творчества писателя с его жизнью, равнодушно скользя глазами по критическим разборам и социальными оценкам, меняющимся со временем.

Жизнь Алексея Толстого пришлась на самую бурную эпоху в истории России и Европы. Три революции и две кровавые войны. Именно они оказали решающее воздействие на все его творчество, включая исторические и научно-фантастические произведения. Громадный заряд великой русской культуры он пронес через все испытания, не опускал рук, не предавался отчаянию, постигал и предугадывал новое, был в своих книгах всегда на острие времени, стал явлением, связующим прошлое и будущее, не дающим прерваться току живительной влаги национального самосознания. Надо было иметь достаточную гибкость мышления и живой характер, чтобы справиться с сомнениями и предубеждениями той среды, из которой он вышел, хотя не следует забывать, что та же среда относилась весьма критично к порядкам обветшавшей империи. Теперь как-то забывается, что либеральная русская интеллигенция в большинстве своем приветствовала пролетарскую революцию, что немалую часть командиров Красной Армии составляли бывшие офицеры, в прошлом инженеры, учителя, земские деятели, которые прошли ад мировой войны и считали своим патриотическим долгом служение новому, социальному отечеству.

Даже в Америке прошли времена, когда новоиспеченный миллионер гордо заявлял, что он «сам себе предок». Теперь миллионеры покупают родословные, доказывающие их происхождение от «сотов-основателей» Соединенных Штатов или, на худой конец, от личностей, запечатленных в истории Европы. У нас северные крестьяне помнят имена двадцати поколений своих предков. Пушкин усердно изучал свою родословную, гордился предками и говорил: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости...»

Бунин называл Алексея Николаевича «третьим Толстым», напоминая о принадлежности писателя к роду, оставившему неизгладимый след в отечественной истории и культуре. В книге о «первом Толстом», рыцарственно-благородном и бесконечно талантливом Алексее Константиновиче, мне уже довелось пересказать легенду о том, как Петр Андреевич Толстой наделил своих потомков графским титулом. Он получил его за выполнение весьма щекотливого задания Петра Первого, вернув в Россию царевича Алексея и обещав ему, что у того волос с головы не упадет. И будто бы царевич Алексей на дыбе осевшим от мук голосом проклял весь род Толстых до двадцать пятого колена. Потому, мол, в роду Толстых и рождались либо гении, либо великие негодяи, либо слабоумные, но по большей части люди одержимые.

И как тут не вспомнить «второго Толстого», гениального Льва Николаевича, или Федора Петровича Толстого, замечательного художника и медальера, вице-президента Академии художеств. В истории литературы непрерывно склоняется Толстой-Американец, человек необузданного нрава и необыкновенных способностей.

Что же касается отца Алексея Николаевича Толстого, то, по словам исследователя В. В. Петелина, он был способен на «поступки, которые одних шокировали своей буйной силой, а другим служили лакомой пищей для сплетен и анекдотов».

Алексей Толстой родился 10 января 1883 года в городе Николаевске (ныне Пугачевск Куйбышевской области). Мать его Александра Леонтьевна (урожденная Тургенева) ушла от мужа к любимому человеку, либеральному земскому деятелю и помещику Алексею Апоплоновичу Бострому, оставив на руках у Николая Александровича Толстого трех маленьких детей и беременная четвертым — будущим писателем. Детство Алексей Толстой провел в имении отчима, степном хуторе Сосновке Самарской губернии. Отторгнутая от сплетничающего «общества» из-за скандальности семейной драмы (граф Толстой стрелял в Бострома и ранил его), чета мало выезжала, много времени посвящала воспитанию Алексея. Мать была писательницей (детские рассказы ее, кстати, отчасти навеяны заботой о сыне), отчим — книжочесем. Лучше, чем «Детство Никиты», ничто не дает представления о гордах жизни на хуторе. И еще строки из «Краткой автобиографии»:

«Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однобразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность...»

Мечтательность! Что ж, будем отбирать из богатой жизни Алексея Толстого то, что имеет прямое отношение к его будущей научной фантастике. Наверное, начать надо с того, что его отдали учиться не в классическую гимназию, а в Сызранское реальное училище. Но это было в тринадцать лет, а до того деревенская жизнь — сенокос, жнивье, молотьба, слушание крестьянских сказок, писсен, что потом сказалось на совершенном, точном знании примет народной жизни, на «вещественности» в его произведениях, на великолепном, артистичном, непринужденном владении русским языком.

В городской библиотеке Сызрани он «добрался до Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн-Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и отчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью». Разумеется, он и предположить не мог, что некоторые его романы, изданные серийно вместе с книгами любимых авторов юности, станут полноправно на книжные полки и будут истрапаны новыми поколениями в упоительном чтении.

Реальное образование было знамением приближающегося двадцатого века и привело Алексея Толстого в Петербург, в Технологический институт, куда он поступил, сдав конкурсный экзамен и избрав будущей специальностью механику.

Писать стихи он начал рано, подражая Некрасову и Надсону, а потом символистам. И в этом не было ничего из ряда вон выходящего, как и во всей его молодой жизни, в студенческом бытии, даже в участии в студенческих волнениях начала века, когда в 1903 году у Казанского собора в грудь ему угодил булыжник. Спасла его книга, засунутая за обшлаг шинели. Книга — спасе-

ние... Не будем искать в этом сочетании слов провидческого смысла, но запомним его для понимания способности Алексея Толстого находить спасительные выходы на самых крутых поворотах истории.

1905 год. Революция. Закрыты высшие учебные заведения. Алексей Толстой в Дрездене, в тамошнем Политехникуме, где в равной степени совершенствуется в немецком языке, механике и стихах.

Потом снова Петербург. На последнем курсе института он знакомится с чиновником министерства путей сообщения Константином Петровичем Фан дер Флитом, «чудаком и фантазером», по ночам у себя на мансарде с жаром читающим стихи символистов. Тот ввел Алексея Толстого в спортивный мир, в яхт-клуб на Крестовском острове, всплывший потом в «Гиперболоиде инженера Гарина».

И вот уже инженер-механик Алексей Толстой увлекается прозой, пишет «Сорочинские сказки», фантастику, не научную, а овеянную детскими впечатлениями и народной мудростью. Стихотворные подражания символистам тоже оказались не совсем бесплодными. «Форма и техника» — не последнее дело в занятиях литературой.

Повести и романы из жизни угасающего земельного дворянства — «сочная» реалистическая проза Алексея Толстого — сделали ему литературное имя. Свое предреволюционное творчество писатель оценивал так:

«Если бы не было революции, в лучшем случае меня ожидала бы участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного писателя. Октябрьская революция как художнику дала мое все».

В этом высказывании есть и самоунижение, которое паче гордости. Есть и правда. Он воздвигал храм своего творчества, как говорили в старину, «на костях», он совершил главный свой подвиг в новую эпоху и был удостоен почестей и жизненных благ, каких, наверно, не видать бы ему, если бы он не стал свидетелем великих событий. Другое дело, что он был подготовлен к их восприятию, обладал талантом, наблюдательностью, навыком, литературной дерзостью и честолюбием.

О его «насмешливом уме» и таланте говорил Бунин. «Брюхом талантлив», — сказал как-то Федор Сологуб. Его заметил Блок. Горький называл его талант «веселым»... Можно долго говорить о достоинствах дореволюционной прозы Алексея Толстого, что и делалось многими литературоведами, из которых особенно хотелось бы отметить О. Михайлова, кратко, но объемно подытожившего все творчество писателя:

«Это был талант, достойный своего времени и отвечающий всем его требованиям, талант веселый, жизнерадостный, талант глубоко национальный. Нечто очень русское — широта, размах, даже беззаботность (при огромной работоспособности и ответственности за качество писательского «дела») — было присуще его замечательному дарованию».

Однако нужно было еще «хождение по мукам», чтобы талант этот сложился окончательно.

В годы войны, революции, эмиграции он не переставал работать, как бы по контрасту с обстановкой создавая вещи, искрящиеся фантазией и верой в доброе начало человека. Так в разгар

гражданской войны он пишет в Одессе комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро». Великолепная выдумка с оживлением красавицы, что застыла на старинном портрете, могла бы вполне встать в ряд лучших произведений русской фантастики.

Смысл жизни художника — в творчестве. В 1919 году, когда банды Григорьева подступили к Одессе, Алексей Толстой покинул Россию. Но в эмиграции он тотчас взялся за новую работу. Потом писатель вспоминал:

«Первый том «Хождения по мукам» начат под сильным моральным давлением. Я жил тогда под Парижем (19-й год) и этой работой хотел оправдать свое бездействие, это был социальный инстинкт человека, живущего во время революции: бездействие равно преступлению».

Эпиграфом к «Сестрам» было знаменитое «О, Русская земля...». Ностальгическое настроение породило и «Детство Никиты» — вець поразительную по своей теплоте и любви к отчизне, выраженной не декларативно, а художественно — через восприятие десятилетнего мальчика милых сердцу и столь далеких людей и природы своей, как теперь говорят, «малой родины».

Тоска по Родине одолела неприязнь и недоверие к тому, что происходило в России. Жизнь на чужбине была тосклива и уныльная. Мир эмиграции, разделенный на грызущиеся секты, флистерство мелких буржуа, с которыми доводилось сталкиваться Толстому, — все это вселяло ужас перед будущим, а из России приходили вести о конце военного коммунизма, об укреплении государственности и оптимистических устремлениях.

20 апреля 1922 года А. Н. Толстой писал К. И. Чуковскому:

«Вы помните очень давнишнее настроение А. А. Блока, когда он сидел дома с выключенным телефоном, — у него было безнадежное уныние бессмыслицы, в каждом лице он видел очертание черепа. Вот так же и в Европе: заперта дверь и выключен телефон.

Я чувствую, как Россия уже преодолела смерть. Действительно — смертию смерть поправ. Если есть в истории Разум, а я верю, что он есть, то все произшедшее в России совершено для спасения мира от безумия сознания смерти...»

Эти размышления предшествовали принятию главного решения в его жизни — решения вернуться на Родину. Непосредственно с этим был связан научно-фантастический роман «Аэлита», над которым Толстой работал в Германии, в местечке Миздрой, на берегу Балтийского моря у Геринсдорфа, где в то же время жил Максим Горький.

На застекленной веранде он читал близким готовые главы романа и жаловался жене, что ему не хватает стрекотанья сверчка, вспоминал российскую глубинку, бревенчатую избушку на Оке, где когда-то так хорошо работалось. Потом выходил в сад, искал на небе Марс, думал о рисунках Ловелла и Скиапарелли, о белых полярных шапках планеты и загадочных каналах.

В тоске героя романа Лося, беглеца, разуверившегося человека, нетрудно угадать косвенное отражение настроений самого Толстого.

Еще осенью 1921 года Толстой переехал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу, редактировал литературное приложение к газете «Накануне», в котором печатались и не эмигранты — Горький, Федин, Есенин, Катаев, Булгаков, Пильняк, Зощенко...

Как и большая часть творцов, оказавшихся в эмиграции, Толстой мучился оторванностью от истоков родного слова, думал о том, куда идти, чем жить. Одними лишь воспоминаниями? Или жизнью русского народа, в невиданном эксперименте ломавшего уклад прежнего существования? Он вчитывался в строки редакционной статьи новой эмигрантской газеты «Накануне» 26 марта 1922 года:

«Мы не согласны, что прошлое мертвое. И вместе с тем не верим, что достаточно лишь загореться великим идеалом, чтобы тотчас вполне достичь его. Мы знаем: между завтра и вчера стоит еще сегодня, а у него свои требования, своя правда. Оно — примирение между прошлым и будущим. Оно — мост от прошлого к будущему...»

Он верил вместе с автором статьи в то, что происходящее в России лишь канун новой исторической эры, канун торжества социальной справедливости и прочного мира. Вокруг Толстого сразу образовался вакуум. «Бывшие друзья надели по мне траур», — вспоминал он впоследствии. От имени белоэмиграции «дедушка русской революции» эсер Н. В. Чайковский потребовал объяснений новой позиции А. Н. Толстого, рассматривая ее как переход на сторону «самозваной власти» в России.

14 апреля 1922 года Толстой опубликовал в газете «Открытое письмо Н. В. Чайковскому». Да, он примкнул к газете «Накануне» потому, что «она ставит себе целью — укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России». Нет другой силы, кроме большевистского правительства, которая сградила бы страну от возможного порабощения и разграбления ее другими странами. Да, он «проделал весь скорбный путь хождения по мукам».

«Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от рака, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».

Но... кто же виноват во всем этом? «Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся». И пришло время забыть обиды, обогащать русскую жизнь, извлечь из революции все доброе и справедливое, утвердить это добро, уничтожить все злое и несправедливое...

Голос Толстого был услышан в России. Он первый и пока единственный из больших русских писателей высказался в таком духе. 25 апреля 1922 года газета «Известия» опубликовала письмо Чайковского и ответ Толстого с комментариями, в которых, среди прочего, говорилось, что это выступление «русская литература не забудет, как не забыла письма Чаадаева и письма Белинского к Гоголю».

Референт В. И. Ленина и редактор советского журнала «Красная новь» А. К. Воронский ветушил в переписку с Толстым

уже в мае 1922 г. И тогда же Толстого ввели в бюро создававшееся в России профессиональной организации писателей.

Эмигрантский Союз русских писателей и журналистов исключил А. Н. Толстого из своих рядов. Правда, против этого голосовал Куприн, а Бунин воздержался, но и они подписали письмо, морально осуждающее Толстого.

Было бы опрометчивым рассматривать путь Толстого в Россию прямым и безоговорочным. Он присматривался к возникавшей там литературе, старался разглядеть таланты, порожденные революцией, но не отринувшие ценности великой русской культуры. И он же испуганно читал лихие фельетоны, громившие «вшивую, безграмотную, уродливую» Русь, старательно не замечавшие в ее прошлом ничего светлого...

Казалось бы, какое отношение все это имеет к научной фантастике Толстого? Самое прямое. Это политический фон, на котором писалась «Аэлита».

Любопытно сразу же отметить одно обстоятельство. Толстой покинул Россию в 1919 году. Начинается же «Аэлита» 14 августа 192... года. Чутьем художника он угадывает частности не виденной еще им обстановки, рисует удивительно верный характер Гусева, истинно русского человека, прошедшего огонь гражданской войны, верующего в непогрешимость революции и как бы остановленного в яростной атаке приказом залечь и окопаться.

«...не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу... Четыре республики учредил,— и городов-то этих сейчас не запомню. Один раз собрал сотни три ребят,— отправились Индию освобождать. Но сбились в горах, попали в метель, под отвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, погулять захотелось... ну, с бандитами не ужился. Ушел в Красную Армию. Поляков гнал от Киева,— тут уж я был в коннице Буденного: «Даешь Варшаву!» В последний раз был ранен, когда брали Перекоп. Выпился — куда деваться?.. В деревню ехать — отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас нег,— не предвидится... Я вам на Марсе пригожусь».

Из этой крохотной энциклопедии гражданской войны выражает впоследствии многое в творчестве Алексея Толстого, но в хвастливом, лихом, не связанным интеллигентскими комплексами Гусеве уже видны сила и буйная неуемность, давшие победу революции и предреволюции, как теперь видно, новые характеры в русской советской литературе.

И тут же Толстой не преминул пустить шпильку в адрес Запада, недоумевающего по поводу русского характера, вложив ее в выдержку из статьи американского журналиста Скайльса, который писал об «искорке в русских глазах»: «...Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то бездумная решительность, и, наконец, непонятное выражение пре-восходства — крайне болезненно действуют на европейского человека».

Это и еще реплика рабочего: «На теперь, выкуси,— Марс-то чей? — советский», были теми предпосылками, которые определили идейное содержание романа писателя-эмигранта.

В 1924 году ожидалось величественное противостояние Марса. Об этом тогда много говорили и писали. Выходили десятки научно-фантастических романов, ныне погребенных временем. «Живучесть» произведения Толстого обусловлена вовсе не научно-фантастическим антуражем, не «яйцом», космическим кораблем, движимым взрывами «ультраидита», не техническими чудесами (телеvidение, летательные аппараты, читающие мысли устройства и проч.), увиденными героями «Аэлиты» на Марсе, а жизненностью человеческих характеров и социальным оптимизмом, положившим начало советской ветви этого рода литературы.

Тогда еще не бытовал термин «антиутопия», но уже родился у Е. Замятин рома́н «Мы», проникнутый опасениями, что общество равенства отдаст себя убийственному рационализму и выродится в казарменный социализм, в котором коллектив — все, а личность — ничто. Замятин можно считать родоначальником «антиутопии» в ее чистом виде, получившей развитие в известных произведениях Хаксли, Оруэлла и других.

Впрочем, Алексей Толстой усматривал зачатки этих настроений еще в рома́нах Уэллса. Впоследствии он писал:

«Утопический рома́н почти всегда, рассказывая о социальном строе будущего, в центре внимания ставит машины, механизмы, необычные аппараты, автоматы и проч. Почти всегда это происходит в сверхурбанистической обстановке фантастического города, где человек в пропорциях к этому индустриальному величию — ничтожная величина. В рома́нах Уэллса человек будущего всегда дегенерат, и это характерно для уэллсовского «социализма».

Разумеется, главное у Толстого — земляне. Несокрушимый Гусев. Неврастеничный от пережитого Лось, ищущий в любви к Аэлите исцеления.

Все же, что касается Марса, — это либо красивые, либо зловещие символы, попытка соединить поэзию, эпос и философию. Поэзия — это трепетно-женственная Аэлита, отдавшая пробудившемуся чувству всю себя. Это и символ любви, для которой не преграда ни грандиозные события, ни космические расстояния. В легендах, рассказанных Аэлитой Лосю, — пути мирового разума, извечная борьба добра и зла.

Пусть не оказалось на Марсе никаких каналов. Пусть Атлантида остается предметом споров (мы недалеко ушли от Платона, его гигантской, островной цивилизации, погибшей более десяти тысяч лет назад). И дело не в интересных легендах-гипотезах, сочиненных Толстым.

Научно-фантастический рома́н — это почти всегда социальная попытка заглянуть в будущее. У Толстого вырисовывается на Марсе власть технократии на фоне увядания цивилизации. Конструсты и тут.

«Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно двигающиеся станки, машины, сутулые фигуры, точные движения работы, — унылая, беспроблестная муравьиная жизнь». А для отвлечения от беспокойных дум — дурман, пьянящий и отнимающий здоровье дым «хавры».

И рядом:

«Уступчатые дома, ползущая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины...»

Тускуб, отец Аэллы, глава Высшего совета инженеров, видит и в глухом брожении рабочих, и в разгуле утопающих в роскоши бездельников предвестье гибели мира. И винит в этом город, порождающий анархию: «Мы вдвое увеличиваем число агентов полиции — анархисты увеличиваются в квадрате».

«Эге, эти штуки мы тоже видали», — думает Гусев. И мысль его протяжenna во времени. Наблюдатель мира, над которым на висла угроза гибели, в котором царит страх и множится терроризм, не может не говорить то же самое. Не видя средств остановить вымирание, беспорядки, Тускуб хочет уничтожить город, оградить Марс от проникновения землян. «Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которую они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт».

Но Марс чреват революцией, вдохновляемой призрачной надеждой на оздоровление расы «горячей кровью» землян. В задачу Толстого не входил показ очередной утопии. Весьма смелые (для эмигранта) идеи, создание живых характеров, энергичный стиль — вот и все, что мог тогда предложить писатель. Некоторые литераторы усматривают в Тускубе «проекцию на фашизм». Поминается имя Шпенглера в связи с размышлениями Тускуба: «Равенство недостижимо, равенства нет...».

В первой публикации «Аэлита» имела второе название — «Закат Марса», что одно уже наводит на мысль о внимательном прочтении писателем книги немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат Запада» (в русском переводе «Закат Европы»). Философ исповедовал пессимизм, предрекал смену цивилизаций. Кстати, впоследствии гитлеровцы бойкотировали Шпенглера, который отклонил их предложение о сотрудничестве. Он не верил в единую общечеловеческую культуру, в прямолинейный прогресс. По Шпенглеру, в истории человечества было восемь культур. Последняя — западноевропейская, которая сменится русско-сибирской. Он считал, что культура, как и организм, мужает, процветает, совершая героические деяния, стареет, умирает, превращаясь в цивилизацию, где царит бездушиный интеллект. Это «массовое общество», бесплодное, окостенелое, занято механической работой, обреченное на «голый техницизм». Метафорический стиль Шпенглера увлекал многих художников начала века, заставлял думать и спорить.

Летом 1922 года Толстой наведывался на дачу к Горькому в Геринсдорфе, читал главы романа. В начале сентября жаловался: «Я предпринял обработку «Аэллы» и перерабатываю ее с самого начала — ужасно много мусора. Работаю весь день...» В конце сентября, уже в Берлине: «...Работаю плохо: конец «Аэллы» — 10 страниц — как воз выворачиваю». Видимо, по рекомендации Горького роман публиковался в советском журнале «Красная новь» в 1922 и начале 1923 года, как бы предшествуя посещению Толстым Родины в мае 1923 года. Встречи, наблюдения окончательно убедили его вернуться, что он и сделал. 1 августа того же года пароход доставил его с семьей в Петроград.

Горький рекомендовал иностранным издателям и перевод книг, подчеркивая: «Хотя гр. А. Н. Толстой инженер по образо-

ванию, но он свел в романе технику к необходимому минимуму, и вся книга написана под влиянием увлечения догадками об Атлантиде... и вполне отвечает жажде читателя к темам не бытовым, к роману сенсационному, авантюрному. Написана «Аэлита» хорошо и, я уверен, будет иметь успех».

Ождалось, что Толстого встретит на Родине хороший прием. Так, С. Н. Сергеев-Ценский писал в частном письме: «...Как прозелит он (Толстой.—Д. Ж.) будет в большом фаворе в Москве, и ему будут открыты все тайны и даны все «ключи счастья».

Но действительность оказалась сложнее.

Некоторые (не читатели, а литераторы) увидели в нем лишь «кающегося дворянина». В журнале «На посту» появились недоброжелательные намеки на реакционность «бывших графьев». В ЛЕФе иронически отзывались о желании Толстого въехать в Россию на «белом коне» своих сочинений. Лефовцы, напостовцы, пролеткультовцы «сбрасывали» А. Н. Толстого к классикам, годившимся, по их мнению, только для музеев.

Сам он потом в «Краткой автобиографии» совершенно определенно указывал на неприемлемость своего творчества «для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа».

Научно-фантастический роман его издавательски высмеивали, называли его наивным. Ю. Тынянов обрушился на «Аэлиту»: «Взлететь на Марс, разумеется, не трудно — для этого нужен только ультралидит (вероятно, это что-то вроде бензина)...» Пеняли на то, что он недостаточно живописал Марс, краски которого «изготовлены на земной фабрике» (будто бы они могли быть изготовлены на какой-то еще!). Но революционный пафос, заключенный в сочно выписанной фигуре Гусева, признавался всеми.

Впрочем, и ныне, после шестидесяти лет неувядашей популярности «Аэлиты», в одной из юбилейных статей (В. Ревич) чувствуется снисходительность к еще не устоявшимся политическим взглядам «недавнего графа», к его «наивности» в изображении революции на Марсе, к его научной несостоятельности при взгляде с космической высоты, на которую взобралась сегодняшняя наука. Забывается главное — литературные достоинства произведения, живость авторского воображения и русской речи, без чего даже самое «правильное» по всем статьям научно-фантастическое произведение оказывается мертворожденным.

Носители бациллы буржуазной «массовой культуры», укрепляющие свои позиции в связи с развитием средств информации, цепляются рельем ко всякому подлинному успеху. Чего только не называют именем Аэлиты, символа любви и нежности, — вокально-инструментальный ансамбль, стиральную машину, бесчисленные кафе...

Но одно дело — прилапалы, а другое — чистота побуждений Толстого, его раздумья в критический период жизни, непрекращающее очарование романа.

В Советской России писатель увлекся театром. Поставлены на сцене четыре оригинальные его пьесы, три театральные переработки, и среди них — «Бунт машин», по фантастико-философским

софскому произведению Карела Чапека «R. U. R.» (из этого названия и пришло в мир слово «робот»). Как видим, интерес к этому жанру у Толстого не угасает. Более того, в фантастике он опять находит прибежище в трудные годы.

«Раппсовское давление на меня усиливалось с каждым годом и, наконец, приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина».

Но было бы нeliшне вспомнить, что этому роману предшествовал рассказ «Союз пяти», вышедший в первой публикации под названием «Семь дней, в которые был ограблен мир». Это как бы связующее звено между двумя знаменитыми романами Алексея Толстого.

Сильная личность — индустриальный магнат Игнатий Руф не согласен с «дженльменами, которые считают войну потребителем промышленного рынка». С помощью беспринципного инженера Корвина, используя все те же ракеты Лося, движимые взрывами ультралиддита, он намеревается взорвать Луну, посеять панику, скупить большую часть предприятий, а там — «манифест о вечном мире и конце революции на земле». Вроде бы все удается, и Руф едет в белом автомобиле, как на белом коне. Но фантастический рассказ имеет социально-утопическую концовку. Люди перестают уважать право собственности. Они продолжают работать, но не испытывают страха перед властью. Это очень любопытный поворот. Диктатура опирается не на власть, не на обладание земными богатствами, а на страх людской, без которого у нее нет ощущения своего могущества.

Элементы фантастики есть и в первом рассказе Толстого о советской действительности «Голубые города», написанном по впечатлениям от поездки по городам Украины и Белоруссии в 1924 году. Это, как выразился сам писатель, «страстная повесть мучительной, нетерпеливой и горячечной фантазии», столкновение прекрасной мечты о будущем с ничтожной явью, оказавшейся более живучей, чем думали утописты. Толстой увидел трудноистребимые свойства обывателя, способного, как теперь уже очевидно, приспособливаться к самоновейшим достижениям технического и политического прогресса. Герой рассказа Буженинов, прошедший тот же путь в революции и гражданской войне, что и Гусев, демобилизуется, возобновляет учение на архитектурных курсах, работает исступленно, живет впроголодь где-то в склепе на Донском кладбище (кстати, ныне на территории кладбища развернут музей истории архитектуры). В результате — нервное переутомление, отъезд на родину и фантастический рассказ о будущем на прощальной вечеринке.

2024 год. «Полное омоложение» героя за заслуги изменением самого молекулярного строения тела, произведенное еще в 1974 году. Легкая одежда без швов из шерсти и шелка. Упругая обувь из кожи искусственных организмов. Москва — чудесный сад, в котором стоят «в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и стекла». Все движение механизмов — только под землей. Заводы, учреждения — в отдаленных районах. На поверхности — лишь театры, цирки, спортзалы, магазины и клубы. «На сто седьмом году нового летосчисления», пашни вместо тундры и таежных болот. Распад урана

дает гигантские запасы радиоактивной энергии, которая поступает и от электромагнитной спирали, соединяющей северный и южный полюса. «Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба — эта унылая толчая истории — изучалась школьниками второй ступени».

Вряд ли надо комментировать, что исполнилось, а что нет, хотя прошло более половины срока, отмеренного мечтателем. Ему возражают: «Горячишься, Вася... Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утопией социализмом, пока рот разинул, тебя живо колесами передут...»

Действительность, о которую «подошвы царапнули», — уездный городок с его немощеными улочками, гнилые заборы, зашпленные досками домишкими... Никто не поддерживает разговоров Буженинова о голубых городах. «Огненной метлой вымощены помешники и капиталисты», но живучи конторщик Утевкин, оборотистый Сашок... Все доносят друг на друга «куда следует».

Со времени опубликования «Голубых городов» пошло лишь третье поколение. В бывших уездных городах «дома из голубоватого цемента и стекла» пока еще уныло возвышаются среди «зашпленных досками домишек», но это вопрос времени и работы «железных законов экономики». Впрочем, обыватель может освоиться в любой, даже самой фантастической с точки зрения техники обстановке и строить в ней моральный микроклимат на свой салтык. Процесс преобразования душ протекает медленнее, чем развитие техники. Однако поджог старого города и утверждение на пепелище, вместо флага, плана голубого города — это не выход, а скорее, народное бедствие.

Толстого обвиняли, что он утверждает «идею поражения победоносной революции в столкновении с бытом». Предупреждали против «широких обобщений» и «похода против плана». Однако А. В. Луначарский увидел, как Алексей Толстой в своем рассказе, «ис будучи ничуть коммунистом и не зачисляемый многими даже в разряд попутчиков... волнующе ставит в художественной форме проблемы дня».

Не максимализм и не приспособление к обывательскому образу мышления и жизни, а кропотливая работа над достижением изобилия, потому что трудности, в том числе экономические, одних зовут к подвижничеству, у других же выявляют далеко не лучшие свойства человеческой натуры, — вот смысл художественного видения Алексея Толстого, так артистично сопрягавшего в своем творчестве историческое прошлое, действительность и фантастическую мечту, которую никак не следует путать с пустой мечтательностью.

Поток впечатлений, обрушившийся на Толстого по возвращении на Родину, не заслонил пережитого, которое в творчестве писателя на первых порах получало авантюрно-приключенческий отклик. Есть несомненное родство между одной из лучших, на наш взгляд, повестей А. Толстого «Похождение Невзорова, или «Ибикус» и романом «Гиперболоид инженера Гарина». То

и другое написано стремительно, ясно, ярко, пронично, увлекательно и весьма дерзко с точки зрения стилистической, литературной.

Были разные мнения по этому поводу. Писатель-де не нашел еще себя в новой среде. Толстого обвиняли в неприятии «орнаментальной» прозы. В потакании вкусам читателей, уставших от передряг и ищущих в романах развлечения, что подтверждается высказыванием Горького: «Быт, психология — надоели».

И в самом деле, авантюристические романы, замешанные на фантастике, заполонили тогда книжный рынок. Возникло словосочетание «красный Пинкerton». С одной стороны, вроде бы бульварщина, а с другой — новая погудка на старый лад, быстрый отклик на социальный заказ. «Месс-Мэнд» и «Лори Лэн — металлист» М. Шагинян, «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, «Иприт» Вс. Иванова и В. Шкловского, «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа» В. Катаева, «Крушение республики Итль» Б. Лавренева и прочие сочинения такого рода выполнили свою задачу и прожили положенное им время. И давно уже созданы были стереотипы, которые не могли не вызывать улыбки и просились в пародию. Памятая настороженное к себе отношение, Толстой решился на скрытое литературное озорство, но в силу своего таланта и художественного воплощения передовых идей создал произведение, которое качественно превосходило пародируемые сочинения и потому обрело долгую жизнь.

О пародийном характере «Гиперболоида инженера Гарина» догадывались многие литераторы, которые, не употребляя слова «пародия», говорили о злодейской гротескности нравственного облика Гарина, о готовых «масках», надетых персонажами, о точно сошедшем с антиимпериалистического плаката мистере Роллинге, об опереточном капитане Янсене, о типовых негодяях Семенове, Тыклином и других, о розовом, кочевавшем из романа в роман советском сыщике Василии Витальевиче Шельге (не озорное ли тут совпадение с именем монархиста Василия Витальевича Шульгина?), о женщине-вамп Зое Монроз...

Многое в этом романе написано условно и небрежно, как, например, диалог Зои с капитаном Янсеном на борту яхты «Аризона»:

«— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, курс — норд-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Безумий...»

Чего уж проще было бы взглянуть на карту, посмотреть координаты Неаполя и написать для убедительности их вместо: «такие-то». Но это не нужно ни писателю, ни читателю: Точные числа лишь мешали бы, противоречили правилам игры, развитию сочинения на заданную тему, восприятию художественной подробности.

«Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена».

Не знаю на кого как, а на меня эти белые туфли с веревочными подошвами при всяком чтении производили впечатление. Деталь!

Калейдоскоп словоров, драк, побегов, налетов — полный приключенческий набор, но какими убедительно художественными

подробностями это оснащено, как захватывающие зримы описания, как чувствуется жест за каждой репликой! И вот тут мысль о пародии отступает на задний план, а само развитие романа начинает работать на идеи, в которых нет ничего пародийного. Как и в научно-фантастических предположениях.

Летом 1924 года, представляя заявку в издательство, Толстой писал:

«Время действия — около 1930 года. Роман развертывается на фоне кануна второй мировой войны. С середины романа — происходит воздушно-химическая война. В конце — европейская революция». И обещал, что «роман будет авантюрный, героический и утонический».

Отчасти обещание было выполнено.

Уже говорилось о впечатлениях от пережитого за границей, использованных для фактуры романа. Советская действительность в нем ограничена Крестовским островом. Толстой мысленно возвращается в неприютную для него Европу, и особенно в Париж, который заиграл в романе мрачными, но очень живыми красками. Бессмысленно пересказывать все перипетии грандиозной гаринской авантюры, да их и знает каждый. Главное — толстовский язык и остромыслие, захватывающее с самого начала романа, с передачи размышлений верховного швейцара парижской гостиницы «Мажестик»:

«Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих — англосаксонских, темных, как ночь, — южноамериканских, лиловых — французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.

Да, что касается женщин, — все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог сказать того же о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются но дешевке скупить старый добрый мир».

Такой зачин сразу окрашивает идеино все остальное и даже высвечивает весь замысел — власть, деньги. А лиловые глаза у француженок — выдумка. Зато как сладко, как вдохновенно «врет» писатель (его же слово). И как убедительно.

В ответах на анкету в 1929 году «Как мы пишем» среди чрезвычайно интересных рассуждений о работе писателя, о «муках творчества», о страсти и бесстрастье при писании («А холодный Мериме сияет, не тускнея») Алексей Толстой отстаивал тезис неизменной выдумки, ибо только в ней наиболее ярко проявится типичное, научную фантастику он рассматривал лишь как частный случай, упомянув о ней при ответе на вопрос о подготовке к работе.

«...Я пользуюсь всяким материалом: от специальных книг (физика, астрономия, геохимия) до анекдотов. Когда писал «Гиперболоид инженера Гарина» (старый знакомый, Оленин,

рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида; инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в Сибири), пришлось ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Многое помог мне академик П. П. Лазарев».

Надо бы напомнить, что роман печатался в «Красной нови» в 1925, 1926 и 1927 годах, а позднее перерабатывался, но это касалось в основном стилистики. Еще представляя «Аэлиту», в одном из писем А. Н. Толстой говорил, что роман «фантастический, правда, но в нем совершенно отсутствует элемент невероятности: все, что там описано, все можно осуществить, и я уверен, что осуществится когда-нибудь... Надо Вам сказать, что я по обращению инженер-технолог, поэтому за эту сторону более или менее отвечаю».

Сказанное относится и к «Гиперболоиду инженера Гарина». Теперь мы как должное воспринимаем, что в романе плюют вишневыми косточками в экран «телеvisorного аппарата», что произведено «насильственное разложение атома» и что от овладения его ядром зависит будущее человечества. И это ничего, что в гипотезах Оливиновский пояс отодвинут за тридцать пять километров в глубь Земли, что пока не изобретен радиево-водородный двигатель, умещающийся в сигарной коробке. Зато еще в 1961 году академик Л. Арцимович говорил: «Для любителей научной фантастики я хочу заметить, что игольчатые пучки атомных радиостанций представляют собой своеобразную реализацию идей «Гиперболоида инженера Гарина».

Пусть не оптическим путем решен вопрос о смертоносном луче, но лазерные «гиперболоиды» испытаны, лучи их способны разрезать спутники на расстоянии до сотни километров, и они являются собой главное оружие в ведении «звездных войн», планируемых администрацией, военщиной и банковско-промышленным капиталом США.

Удивляет другое. Фашизм развивался и креп на глазах у писателя. Гарин на пути к мировой диктатуре хочет упрятать всех недовольных в громадные концентрационные лагеря. Но Толстой видит и дальше: Гарин все-таки рассчитывает на более злобную и могучую силу — на американский капитал. Выбрасывая золото по дешевке на рынок, вызывая биржевую панику и беспорядки, он не собирается отменять власть золота. Из тех же магнатов он хочет создать общество «избранных», обрекая остальное человечество на рабскую участу. «Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была пришпорена, история понеслась вскачь, звяня золотыми подковами по черепам дураков».

Лихость последней фразы, лишний раз подтверждающей литературную дерзость Алексея Толстого, только подчеркивает неразлучность науки, несущей смерть, с властью золота. Хотя Гарин в своих целях использует, воруя даже, изобретения других, теперь он не кажется фантастической личностью. Толстой умер, не дожив нескольких месяцев до конца второй мировой войны, атомного уничтожения Хиросимы и Нагасаки, но он угадал появление «организаторов науки», оппенгеймеров и теллеров, неуемное честолюбие которых было не последней причиной в свершившихся преступлениях против человечества. Именно Оппенгеймер настаивал на атомной бомбардировке городов, протестуя против демони-

страйций силы на каком-нибудь острове неподалеку от Японии, так как это могло нарушить «чистоту эксперимента».

«Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно», — говорит в романе советский учёный Хлынов, сознавая низкие желания и бездущие Гарина. И добавляет: «Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает ли он свои обязанности? Или он действительно пошляк...»

Пошлость желаний Гарина очевидна. Это особенно отчетливо проявляется на последних страницах романа, когда диктатор оказывается в пленау условностей того «избранного общества», которым собирался повелевать. Ему оказываются приторные почести. Навязывающиеся женщины вызывают лишь брезгливость.

Однако Гарин далеко не прост, и именно через него, через его ощущения мы воспринимаем тщету непомерного честолюбия. В первой половине романа живость его и ум даже привлекательны, и мы ловим себя на том, что следим с сочувствием за его приключениями, за рассуждениями: «...Что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную...» И с каким искусством Толстой развенчивает Гарина, превращая его в жирненького человечка, вещающего: «Ни одна труба не задымит без моего приказа; ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все принадлежит — вплоть до права дышать — центру».

Всеобщее восстание против диктатуры изображается Толстым весьма облегченно, что, впрочем, не нарушает законов жанра, которым следует писатель. «Шельга разыгрывает революцию, как дирижер — героическую симфонию».

Красный сыщик Шельга во главе революции — это, конечно, забавно. Однако нельзя пройти мимо качеств, которыми наделил писатель своего героя, — его бескомпромиссности, классового чутья, благородства, смелости. При всей схематичности этой «маски» она несет значительный идеальный заряд, окрашивающий революционным духом весь роман.

Вряд ли отыщется еще одно произведение, в котором ирония и пародия так удачно сочетались бы с серьезными обобщениями. Стилистическое единство выдержано Алексеем Толстым до конца, до последних строк романа, когда Гарин с Зоей оказываются на необитаемом острове с пятьюдесятью экземплярами переплетенных в золото и сафьян томов законов и устава «придворного этикета». Гарин похрапывает и переживает «во сне разные занимательные истории».

Памятая о том, что Толстой превосходно знал русский фольклор, остается догадываться, нет ли здесь ироничного намека на «докучные сказки» — вроде той, что про белого бычка?..

По-разному встретили «Гиперболоид инженера Гарина» литературные критики.

В журнале «Революция и культура» писали: «Традиции приключенчества в литературе живучи. За советское время написан

целый ряд романов, аналогичных по духу своему майн-ридовщине. К такому роду творчества руку свою приложил даже маstryтый Алексей Толстой. И вред этих романов вряд ли меньший, чем от всей прежней литературы авантюрного толка... У этих романов грех в том, что они возбуждают чисто индивидуалистические настроения читателя... отвлекают его внимание от действительности то в межпланетные пространства, то в недра земные, то в пучины морей».

Уже давно стала очевидной неправомерность однобокого понимания сути и целей научной фантастики. Читатель, и особенно молодой, настойчиво требовал и требует книг этого жанра, в которых смелость научной мысли была бы сбалансирована с занимательностью, а примитивно понимаемая идейность не подменяла бы собой мастерство, художественный поиск.

Алексей Николаевич Толстой жил в оптимистическое время. Время, опаленное революцией и Гражданской войной. Время надежд на скорое развитие. В 1934 году он говорил: «Подождите — нам всего семнадцать лет...» Верил, что скоро у России будут свои Шекспиры, а Ленинград превратится в центр мировой науки. И придавал большое значение «непосредственному сотрудничеству науки и литературы», научно-фантастическому роману.

Ему хотелось поднять тему утопическую, «но возможную и осуществимую». Например, как изменять по желанию климат земного шара.

«Скажем, пояс между 60-й и 70-й параллелями можно превратить в субтропический пояс, где, то есть в Хибинах, в Пустозерске, в устьях Енисея и т. д., будут процветать апельсины, рис и прочее...» «Скажем, в октябре, когда земля будет насыщена дождями, в кабель включается ток, на севере наступает жаркое лето, засеваются поля, цветут деревья. Полярное ночное небо ярко озарено пылающе-розовым светом светящегося воздуха. Вот пример трамплина для научно обоснованной фантазии».

Тогда все было пронизано лозунгом об одержании победы над природой. Осознание того, что за насилие над ней придется горько расплачиваться, что надо жить в согласии с природой, пришло позже. Он не дожил до времени, когда экологическое равновесие тревожит миллионы.

Уже опустел и исчез с лица земли Пустозерск и многие деревни на севере, заброшены пахотные земли, и кое-кем вынашивается проект поворота северных рек на юг, что усугубит положение тех районов, о процветании которых мечтал А. Толстой. Нетрудно представить себе, на чьей стороне выступал бы он сейчас, когда в обстановке гласности ведутся жаркие и плодотворные споры о том, какой быть стране к третьему тысячелетию.

Алексея Толстого всегда волновали вопросы писательского отношения к действительности. Глубоко, ярко, философично рассуждал он на эту тему.

«Каждый писатель — конденсатор времени. Время летит со скоростью света (быть может, время и есть скорость света). То, что мы называем пространством или бытием, — есть наше восприятие времени. Мы, живущие мгновение на земле, хотим как можно дольше продлить это мгновение, развернуть его в перспективу пережитого, — это наша память. Память останавливает время, создает Историю. Если бы мы могли развить память, чтобы все

ощущения оставляли след на ней,— мы жили бы вечность. Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значительное и запечатлевает его в кристаллах книг. Но искусство идет дальше. Оно стремится развернуть перспективу не только позади, но и впереди жизни, сится увлечь в будущее. В особенности это характерно для нашего времени. Весь пафос — в будущем. Перед искусством труднейшие задачи: проникать в туманную завесу грядущего и, приподнимая ее, показывать вероятное, безусловное, волнующее с той же силой, как прошлый или настоящий миг».

Разве не имеют эти слова прямого отношения к научной фантастике?

О прозе Алексея Николаевича Толстого много писали и еще будут писать. Его фантастика имеет все черты и приметы хорошей прозы. Сам он не выделял ее из потока своего творчества, считая, видимо, что литературу делять на департаменты не стоит. Как и все его произведения, романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» несут на себе отпечаток жизнелюбия, остроты, обаяния писателя. А талант его и верность свободной русской речи — залог народного признания и долгой жизни плодов его творчества.

Дмитрий Жуков



Aeintia



Странное объявление

На улице Красных Зорь, появилось странное объявление: небольшой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибалд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявлением босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье; она читала, шевеля губами. Усталое, и милое лицо ее не выражало удивления,— глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшинкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с зеленью и пошла через улицу.

Объявление заслуживало большего внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз.

— Twenty three,— наконец проговорил он, что должно было означать: «Черт возьми меня с моими потрохами».

В объявлении стояло:

«Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе».

Это было написано обыкновению и просто, обыкновенным чернильным карандашом.

Невольно Скайльс взялся за пульс: обычный. Взглянул на хронометр: было десять минут пятого, 14 августа 192... года.

Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно.

Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми — ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скайльса. Милое лицо ее было спокойное и усталое.

У Скайльса задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек, без шапки, по одежде — солдат, в суконной рубахе без пояса, в обмотках. Руки у него от нечего делать были засунуты в карманы. Крепкий затылок напрягся, когда он стал читать объявление.

— Вот этот — вот так замахнулся, — на Марс! — проговорил он с удовольствием и обернулся к Скайльсу загорелое беззаботное лицо. На виске у него наискосок белел шрам. Глаза — сизо-карие и так же, как у той женщины, — с искоркой. (Скайльс давно уже подметил эту искорку в русских глазах и даже поминал о ней в статье: «Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то безумная решительность, и, наконец, непонятное выражение превосходства — крайне болезненно действуют на европейского человека».)

— А вот взять и полететь с ним, очень просто, — опять сказал солдат, и усмехнулся простодушно, и в то же время быстро, с головы до ног, оглядел Скайльса.

Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки.

Кивнув подбородком, он сказал ей:

— Маша, ты что стоишь? (Она быстро мигнула.) Ну, и шла бы домой. (Она переступила небольшими пыльными ногами, вздохнула, нагнула голову.) Иди, иди, я скоро приду.

Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал:

— В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу — объявления читаю, — скука страшная.

— Вы думаете пойти по этому объявлению? — спросил Скайльс.

— Обязательно пойду.

— Но ведь это вздор — лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров.

— Что говорить — далеко.

— Это шарлатанство или — бред.

— Все может быть.

Скайльс, тоже теперь прищурясь, оглянулся солдата, смотревшего на него именно так: с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Шагал уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руку в карман, где, прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги.

Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. Ветер поднимал время от времени его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая и так же, как и мальчик, глядела на Скайльса.

Вдруг — это было на мгновение — будто облачко скользнуло по его сознанию, закружилась голова: не во сне ли он все это видит?.. Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, странные взгляды прохожих и приколоченное гвоздиками объявление — приглашение лететь в мировые пространства...

Скайльс глубоко затянулся крепким табаком. Развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.

В мастерской Лося

Скайльс вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скайльса, можно ли видеть инже-

нера Лося, рабочий кинул вовнутрь сарая. Скайльс вошел.

Сарай едва был освещен — над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождения лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. В раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря.

Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса:

— К вам, Мстислав Сергеевич.

Из-за лесов появился среднего роста, крепко сложенный человек. Густые, шапкой, волосы его были белые. Лицо — молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось, летящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой грязной, раскрытоей на груди рубахе, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу.

— Вы по объявлению? Хотите лететь? — спросил он глуховатым голосом и, указав Скайльсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось.

Опустив глаза, он зажег спичку; огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта — горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скайльс остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения.

Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз.

— Жалко, что вы не хотите со мной лететь, жалко, — он качнул головой, — люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через четыре дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника. — Он опять зажег

спичку, пустил клуб дыма.— Какие вам нужны данные?

— Наиболее выпуклые черты вашей биографии.

— Это никому не нужно,— сказал Лось,— ничего замечательного. Учился на медные гроши, с двенадцати лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба,— ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного, кроме...— Лось вдруг наступил, резко обозначились морщины у рта.— Ну, так вот... Над этой машиной,— он ткнул трубкой в сторону лесов,— работаю давно. Постройку начал два года тому назад. Все!

— Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? — спросил Скайльс, глядя на кончик карандаша.

— В девять или десять часов, я думаю, не больше.

— Ага! — сказал Скайльс на это, затем покраснел, зашевелил скулами.— Я бы очень был вам признателен,— проговорил он с вкрадчивой вежливостью,— если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью.

Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза.

— Восемнадцатого августа Марс приблизится к Земле на сорок миллионов километров,— это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое — высота земной атмосферы — семьдесят пять километров. Второе — расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — сорок миллионов километров. Третье — высота атмосферы Марса — шестьдесят пять километров. Для моего полета важны только эти сто сорок километров атмосферы.

Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму,— освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами.

— Обычно называют полетом — полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет — это падение, когда тело двигается под действием толкающей его силы. Пример — ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью: очевидно, там я могу приблизиться к скорости света,

если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса сто сорок километров. С подъемом и спуском это займет полтора часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любою скоростью. Но есть две опасности: от чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды, и второе — если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух — почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она, по-видимому, однажды была пробита.

Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол, под лампочкой, и сжал пальцы в кулак.

— В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться, — они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве шесть-семь часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк.

Лось отошел от стола и включил рубильник. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скайльс увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты; полки с оптическими и измерительными инструментами; скафандры, горки консервов, меховую одежду; телескоп на лесенке в углу сарай.

Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс опреде-

лил, что яйцеобразный аппарат был не менее восьми с половиной метров высоты и шести метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся книзу, к поверхности аппарата, как зонт,— это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены три круглые дверцы — входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали, круглая спираль, свернутая в противоположные стороны,— это был буфер, смягчающий удар при падении на землю...

Постукивая карандашом по клепаной обшивке яйца, Лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из шести слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые «глазки» в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами.

Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом — тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории ..ского завода в Петрограде. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле.

Таков в общих чертах был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас ультралиддита — на

сто часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом.

— На какие средства построен аппарат? — спросил Скайльс.

Лось с некоторым изумлением взглянул на него:

— На средства республики...

Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:

— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?

— Это я увижу утром, в пятницу, девятнадцатого августа.

— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс — шесть фельетонов по двести строк, чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?

Лось засмеялся, кивнул головой: согласен. Скайльс присел на углу стола писать чек.

— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это, в сущности, так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма, — сказал Лось, дымя трубкой.

Спутник

Лось стоял, прислонившись плечом к вере раскрытых ворот. Трубка его погасла.

За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догочать печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба. Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо на старой Земле.

Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остановился в воротах, бросил огонек папирочки в темноту.

— Трудно с Землей расставаться, — сказал он негромко. — С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу — раз десять огля-

нешься. Изба соломой крыта, а — свое, прижилое место. Землю покидать — ай, ай, ай...

— Всипел чайник, — сказал Хохлов, другой рабочий, — иди, Кузьмин, чай пить.

Кузьмин вздохнул: «Да, так-то», и пошел к горну. Хохлов — суровый человек — и Кузьмин сели у горна на ящики и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, мотнув бородкой, сказал вполголоса:

— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет.

— А ты погоди его отпевать.

— Мне один летчик рассказывал: поднялся он на восемь верст, — летом, заметь, — и масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там — холод. Тьма.

— А я говорю — погоди отпевать, — повторил Хохлов мрачно.

— Лететь с ним никто не хочет, не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно.

— А я верю.

— Долетит?

— Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе они тогда взовьются.

— Кто взовьется?

— Кто, кто взовьется? На теперь, выкуси, — Марс-то чей? — советский.

— Да, это бы здорово.

Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем.

— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?

— Нет, Мстислав Сергеевич, — ответил Хохлов, — не соглашусь, боюсь.

Лось усмехнулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина.

— А вы, милый друг?

— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел, — жена у меня больная, опять — детишки, как их оставил?

— Да, видимо, придется лететь одному, — сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью, — охотников покинуть Землю маловато. — Он опять усмехнулся, качнул головой. — Вчера барышня приходила по объявлению. «Хорошо, говорит, я с вами лечу,

мне девятнадцать лет, пою, танцую, играю на гитаре, на Земле жить больше не хочу — революции мне надоели. Визы на выезд не нужно?» Кончился наш разговор, — села барышня и заплакала. «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные. «Вы, говорит, считаете меня за идиота — лететь на Марс невозможно; на каком основании вывешиваете подобные объявления?» Насилу его успокоил.

Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком. Хохлов, кашлянув, сказал:

— Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве не страшно?

Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей.

— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, — удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так: мои расчеты окажутся неверны, я не попаду в притяжение Марса — проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот — лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Но эти тысячу лет — мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я еще жив, — а я буду жить долго в этой коробке, — долгие дни безнадежного отчаяния — один во всей вселенной! Не смерть страшна, но одиночество, безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному.

Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался.

В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса:

— Мстислав Сергеевич, к вам.

— Кто? — Лось быстро поднялся,

— Красноармеец какой-то спрашивает.

В сарай, вслед за Кузьминым, вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Коротко кивнул Лосю, оглянулся на леса, подошел к столу.

— Попутчик вам требуется?

Лось пододвинул ему стул, сел напротив.

— Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.

— Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать: жалованье, харчи?

— Вы семейный?

— Женатый, детей нет.

Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Красноармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.

— Как, вам известно,— спросил он,— люди там или чудовища обитают?

Лось крепко почесал в затылке, засмеялся.

— По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляните на его карту,— он, как сеткой, покрыт каналами. (Он указал на чертеж Марса, прибитый к дощатой стене.) Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы. Но мы летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и Земля — два крошечные шарика, кружящиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады оставающихся звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать животное, более совершенное, чем человек.

— Еду с вами,— сказал красноармеец решительно.— Когда с вещами приходить?

— Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?

— Гусев, Алексей Иванович.

— Занятие?

Гусев рассеянно взглянул на Лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы.

— Я грамотный,—сказал он,— автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцати лет войной занимаюсь — вот все мое занятие. Имею ранения. Теперь нахожусь в запасе.— Он вдруг ладоньюшибко потер темя, коротко засмеялся.— Ну, и дела были за эти семь лет! По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать,— характер неуживчивый! Прекратятся военные действия,— не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу. (Он потер макушку, усмехнулся.) Четыре республики учредил,— и городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал сотни три ребят,— отправились Индию освобождать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немногого. У Махно был два месяца, погулять захотелось... ну, с бандитами не ужился... Ушел в Красную Армию. Поляков гнал от Киева,— тут уж я был в коннице Буденного: «Даешь Варшаву!» В последний раз ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам. Выписался — куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась,— женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать,— отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас никакой нет,— не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.

— Ну, очень рад,— сказал Лось, подавая ему руку,— до завтра.

Бессонная ночь

XXXI

Все было готово к отлету с Земли. Но два последующих дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутри аппарата — в полых подушках — мно-

жества мелочей. Проверяли приборы и инструменты. Сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши.

Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы,— Гусев оказался ловким и сметливым человеком.

Назавтра, в шесть вечера, назначили отлет.

Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасив электричество, кроме лампочки над столом, прилег, не раздеваясь, на железную койку — в углу сарай, за треногой телескопа.

Ночь была тихая и звездная. Лось не спал. Закинув за голову руки, глядел в сумрак. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на Земле, он отпустил сердце: мучайся, плачь.

Он вспомнил... Комната в полутьме... Свеча заставлена книгой. Запах лекарств, душно. На полу, на ковре — таз. Когда встаешь и проходишь мимо таза, по стене, по тоскливым обоям колышутся тени. Как томительно! В постели то, что дороже света,— Катя, жена — часто-часто, тихо дышит. На подушке — густые, спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось недавно такое хорошее кроткое лицо. Оно — розовое, неспокойное. Выпростала руку и щиплет пальцами край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло.

«Ну, раскрой глаза, ну, взгляни, простишь со мной». Она говорит жалобным, чуть-чуть слышным голосом: «Скай окро, скай окро». Детский, едва слышный жалобный ее голос хочет сказать: «Открой окно». Страшнее страха — жалость к ней, к этому голосу. «Катя, Катя, взгляни». Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Горло у нее дрожит, грудь подымается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?» Не отвечает, уходит... Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая головка закинулась... Она опустилась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от отчаяния, обхватил ее, прижался.

...Нет, нет, нет,— со смертью нет примиренья...

Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному саю. Потом взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петрогра-

дом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосах окуляра.

...Он опять прилег... Память открыла видение. Катюша сидит в траве на пригорке. Вдали, за волнистыми полями,— золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем. Катюшины серые глаза — равнодушные и прекрасные,— в них тоже плавают коршуны. Катя восемнадцать лет. Сидит и молчит. Лось думает: «Нет, милая моя, есть у меня дело поважнее, чем вот, на этом пригорке, влюбиться в вас. На этот крючок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану».

Ах, боже мой! Как неразумно были упущены эти летние, горячие дни. Остановить бы время тогда! Не вернуть! Не вернуть!..

Лось опять встал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было тягостно: как зверь в яме.

Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс.

«И там не уйти от себя,— за гранью Земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду,— любить! Жить бы неразбуженным. Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвести — пробудиться к жажде — любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон затем, чтобы снова — смерть, разлука, и снова — полет ледяных кристаллов».

Лось долго стоял в воротах. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс — высоко над спящим Петроградом. «Новый, дивный мир,— думал Лось,— быть может, давно уже погасший или фантастический, цветущий и совершенный... Так же оттуда, когда-нибудь ночью, буду глядеть на мою родную звезду среди звезд... Вспомню — пригорок, и коршунов, и могилу, где лежит Катя... И печаль моя будет легка...»

Под утро Лось положил на голову подушку и заснул. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось провёл ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах, очертания аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя.

Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел, заперты ли все окна. Квартира была нежилая — повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где после смерти Кати он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями, — зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное и плоский ключик положил себе в жилетный карман.

Теперь все было закончено перед отъездом.

Тою же ночью

Этой ночью Маша долго дожидалась мужа — несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато.

Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За четыре года дожди и зимние выюги сильно попортили его внутренность.

Комната была просторная. На потолке, среди золотой резьбы и облаков, летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом — крылатые младенцы.

«Видишь, Маша, — постоянно говорил Гусев, показывая на потолок, — женщина какая веселая, в теле, и детей шесть душ, вот это — баба».

Над золоченой, с львиными лапами, кроватью висел портрет старика, в пудреном парике, с поджатым ртом, со звездой на кафтане. Гусев прозвал его «Генерал Топтыгин». «Этот спуска не давал, чуть что не по нем — сейчас топтать». Маша боялась глядеть на

портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила скучную еду,— порядок и чистота.

Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветреные ночи здесь гулял, завывая, ветер, бегали крысы.

Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов,— пробило два. Гусев не шел. Маша думала:

«Что ищет, чего ему мало? Все чего-то хочет найти, душа непокойная, Алеша, Алеша... Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо, сынок: не ищи, не найдешь дороже моей жалости».

На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала: «Вот была бы та-кая — никуда бы от меня не ушел».

Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда — она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли,— трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь — заскрежещет, вскрикнет глохно, сядет на постели и дышит,— зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а наутро — весь темный, места себе не находит.

Маша до того была тихой с ним, так приглашавлась,— умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро,— глядел, куда бы уйти.

Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. «Старики сказывали — в Китае есть золотой клин,— говорил он,— клина, чай, такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная,— уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что».

С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С пятнадцати лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на невских пароходиках. Жила одиноко, невесело.

Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил: «Вижу, одиноко си-

дите, дозвольте с вами провести время,— одному екучно». Она взглянула,— лицо славное, глаза веселые, добрые и — трезвый. «Ничего не имею против»,— ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах,— такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила,— вдруг, кровью всей почувствовала, что он — ей родной. С этого началась ее мука...

Чайник закипел, Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью, в пустой зале. Было так грустно,— не вслушивалась. Но сейчас — явственно слышно — шаркали чьи-то шаги.

Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами несколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего лоб старичка, без шапки, в длинном пальто,— он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени.

— Вам что здесь нужно? — спросила она шепотом.

Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя, указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь,— сердце отчаянно билось. Она вслушивалась,— шаги теперь отдалялись: старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз.

Вскоре с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.

— Слей-ка помыться,— сказал он, расстегивая ворот,— завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно.— Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь — покосился на жену.— Будет тебе, не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек,— отметка не сделана. А умирать — все равно не отвертишься: муха на лету заденет лапой,— брык и помер.

Он сел к столу, начал лупить вареную картошку, разломил, окунул в соль.

— Назавтра приготовь чистое, две смены,— рубашки, подштанники, подвертки. Мыльца не забудь, шильца да мыльца. Ты что — опять плакала?

— Испугалась,— ответила Маша, отворачиваясь,— старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай.

— Это не ехать — что старик-то пальцем погрозил?

— На несчастье он погрозил.

— Жалко, я уезжаю, я бы с этим старикашкой сурьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших, здешних, бродит по ночам, нашептывает, выживает.

— Алеша, ты вернешься ко мне?

— Сказал — вернусь, значит вернусь. Фу ты, беспокойная.

— Далеко едешь?

Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце.

— За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы.

Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибрала посуду, села штопать носки,— не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели,— Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог, так тосковала она по его мятежному сердцу: «Куда летит, чего ищет?»

На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю,— шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег— большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу.

Так она и не узнала, куда он уезжает.

Отлет

На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Начинались разговоры:

— Что это народ собрался — убили кого?

— На Марс сейчас полетят.

— Вот тебе дожили, этого еще не хватало!

— Что вы рассказываете? Кто полетит?

- Двоих бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и — на Марс, для опыта.
- Бросьте вы врать, в самом деле.
- Ах, сволочи, людей им не жалко!..
- То есть — кому это — «им»?
- А вы, гражданин, не цепляйтесь.
- Конечно, издевательство.
- Ну и народ дурак, боже мой!
- Почему народ дурак? Откуда вы решили?
- Вас бы самого отправить за эти слова.
- Бросьте, товарищи. Тут в самом деле историческое событие, а вы, леший знает, что несете.
- А для каких целей на Марс отправляют?
- Извините, сейчас один тут говорил: двадцать пять пудов погрузили они одной агитационной литературы.
- Это экспедиция.
- За чем?
- За золотом.
- Совершенно верно,— для пополнения золотого фонда.
- Много думают привезти?
- Неограниченное количество.
- Гражданин, долго нам еще ждать?
- Как солнце сидет, так они и взовьются..,

До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе, ожидающей необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили.

Тусклый закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль Губисполкома. В сарае изнутри осветились окна. Толпа затихла, придвигнулась.

Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклепок, яйцевидный аппарат стоял на цементной, слегка наклоненной площадке, посреди сарая. Его ярко освещенная внутренность из стеганой ромбами желтой кожи была видна сквозь круглое отверстие люка.

Лось и Гусев были уже одеты в валяные сапоги, в барабаны полушибки, в кожаные пилотские шлемы. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, фотографические снимки сделаны. Лось благодарили провожающих за внимание. Его лицо бы-

ло бледно, глаза как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина. Взглянул на часы.

— Пора!

Провожающие затихли. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полуушубок.

— К жene зайди, не забудь,— крикнул он Хохлову и сильно нахмурился.

Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг он поднял голову и сказал глуховатым, взволнованным голосом:

— Я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен — пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания. Но не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя... Вот это меня смущает больше всего при расставании с вами... Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец...

Лось вдруг оборвал, странным взором оглянулся провожающих, — все слушали его с недоумением. Он надвинул на глаза шлем.

— А впрочем, это не нужно никому — ни вам и ни мне, — личные пережитки... Оставляю их на этой однокой койке, в сарае... До свиданья, товарищи, прошу как можно дальше отойти от аппарата...

Сейчас же Гусев крикнул из люка:

— Товарищи, я передам энтим на Марсе пламенный привет от Советской республики. Уполномачиваете?

Толпа загудела. Раздались аплодисменты.

Лось повернулся, полез в люк и сейчас же с силой захлопнул его за собой. Провожающие, теснясь, взволнованно перекидываясь словами, побежали из сарая к толпе на пустырь. Чей-то голос протяжно начал кричать:

— Осторожнее, отходите, ложитесь!

В молчании теперь тысячи людей глядели на квадратные освещенные окна сарая. Там было тихо. Тишина и на пустыре. Так прошло несколько минут. Много людей легло на землю. Вдруг звонко вдалеке заржала лошадь. Кто-то крикнул страшным голосом:

В сарае оглушающе грохнуло, затрещало. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой металлический нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу, ширкнуло огненной полосой и исчезло в багровом, тусклом зареве туч.

Только тогда в толпе начался крик, полетели шапки, побежали люди, обступили сарай.

В черном небе

Завинтив входной люк, Лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза,— в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачков.

— Летим, Алексей Иванович?

— Пускайте.

Тогда Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Раздался глухой удар,— тот первый треск, от которого вздрогнула на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами, и сотрясения аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сиденье, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся. Удары стали мягче, сотрясение уменьшилось. Лось прокричал:

— Поднялись.

Гусев отер пот с лица. Становилось жарко. Счетчик скорости показывал пятьдесят метров в секунду, стрелка продолжала подвигаться вперед.

Аппарат мчался по касательной, против вращения Земли. Центробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте ста километров он должен был выпрямиться и лететь по диагонали, вертикальной к поверхности Земли.

Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков.

Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, Лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей,— голубовато-серая. Кое-где, точно острова, лежали на ней гряды облаков, это был Атлантический океан.

Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.

Гусев, прильнувши к другому глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки.

Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, мочи нет.

Лось чувствовал: сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется,— трепещет мучительно. Бьет кровь в виски. Темнеет свет.

Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха. Уменьшалось притяжение. Компас показывал, что Земля была вертикально внизу. Аппарат, с каждой секундой набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство.

Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полу-шубка — сердце стало.

Предвидя, что скорость аппарата и находящихся в нем тел достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела,— предвидя это, Лось соединил счетчик скорости одного из гироскопов (их было два в аппарате) электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей.

Лось очнулся первым. Грудь резало, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появились и исчезли — необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны.

Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около пятисот верст в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом, навзничь, лежал Гусев,— зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит.

Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, затрепетали веки. Лось обхватил его под мышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло как пузырь с воздухом. Он разжал руки,— Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти,— сидел, как в воде, озирался:

— Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?

Лось приказал ему лезть наблюдать в верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха,— хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку.

— Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно.

Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным, косматым клубком солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом,— это было время, когда проходили большие солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались еще более бледные, чем зодиакальные крылья, световые океаны отня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него.

Лось с трудом оторвался от этого зрелища,— живоносного огня вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся в зеленоватый луч звезды. Но вот в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч,— это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба.

Лось подполз к третьему глазку, Повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком. Всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове.

Невдалеке, во тьме, плыли, совсем близко, неясные, туманные пятна, Гусев проговорил с тревогой:

— Какая-то штука летит рядом с нами.

Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливее, светлее. Побежали изломанные, серебристые линии, нити. И вот стало проступать яркое очертание рваного края скалистого гребня. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него.

Дрожащей рукой Лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри, под ногами, все заревело, затрепетало. Пятна и сияющие рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было видеть резкие, длинные тени от скал,— они тянулись через оголенную, мертвую равнину.

Аппарат летел к скалам,— они были совсем близко, залитые сбоку солнцем. Лось подумал (сознание было спокойное и ясное): через секунду,— аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом,— через секунду — смерть.

В эту долю секунды Лось заметил на мертвой равнине, меж скал, развалины уступчатых башен... Затем аппарат скользнул над голыми остриями гор... Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади,— продолжал свой мертвый путь к вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.

Вдруг Гусев крикнул:

— Вроде как Луна перед нами!

Он обернулся, отделился от стены и повис в воздухе, раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка,— глядел на серебристый, ослепительный диск Марса.

Спуск

Серебристый, кое-где словно подернутый облачками диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его

расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила до экватора, близ среднего меридиана поднималась, огибая полого более светлую поверхность; и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс.

По экватору были расположены — ясно видны — пять темных точек, круглых пятен. Они соединялись прямыми линиями, которые начертывали два равносторонних треугольника и третий — удлиненный. Подножие восточного треугольника было охвачено правильной дугой. От середины ее до крайней, западной точки шло второе полукружие. Несколько линий, точек и полукружий разбросано к западу и востоку от этой экваториальной группы. Северный полюс тонул во мгле.

Лось жадно вглядывался в эту сеть линий: вот они, сводящие с ума астрономов, постоянно меняющиеся, геометрически правильные, непостигаемые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четким рисунком вторую, едва проступающую, словно стертую, сеть линий.

Он начал набрасывать примерный рисунок ее в записной книжке. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам:

— Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем!

Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось уменьшил и совсем выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши.

Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них.

Лось снова включил реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая притяжение Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все небо, тускнел, края его выгибались чашей.

Последние секунды были страшными: головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно стекла глазков запотели. Аппарат прорезывал облака над тусклой равниной и, ревя и сотрясаясь, медленно теперь опускался.

— Садимся! — успел только крикнуть Лось и выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел и повалился набок.

Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Молча, торопливо Лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высунули наружу, положивую мышь, привезенную с Земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Воздух был годен для жизни.

Тогда отвинтили входной люк. Лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом:

— Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылезаем.

Скинули валенки и полушубки. Гусев прицепил маузер к поясу (на всякий случай), усмехнулся и распахнул люк.

Mars

Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата.

Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны — от резкой черты горизонта до зенита...

— Веселое у них солнце, — сказал Гусев и чихнул, до того ослепителен был свет в густо-синей высоте. Покалывало грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко — воздух был тонок и сух.

Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, точно семисвечники, — бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.

Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснувшись, затрепетало, как под

ветром, и бурые его, мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пихнул сапогом ему под корень,—ах, погань! — кактус повалился, вонзая в песок колючки.

Шли около получаса. Перед глазами расстилась все та же оранжевая равнина,— кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, Лось стал присматриваться, словно что-то соображая, вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену.

— Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная.

— Что вы?

Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту, в нее было ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось поскреб подбородок, глаза его блестели.

— Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?

— Да вижу, что мы — в поле.

— А кольцо зачем?

— Черт их душу знает, зачем они кольцо ввинтили.

— А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы — на дне высохшего канала.

Гусев сказал:

— Да, действительно... Насчет воды тут плохо-вально.

Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положив руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом.

Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой, колючей чаше. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно.

Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложен, видимо, древними тесаными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из таких плит ввер-

нуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирно дремали на припеке.

Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным сосновам, деревьев. Кое-где белели груды камней, очертания развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.

— Вернуться нам надо, поесть, передохнуть,— сказал Гусев,— умаляемся, тут ни одной живой души нет.

Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна,— сжималось сердце.

— Да, заехали,— сказал Гусев.

Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.

Вдруг Гусев — шепотом:

— Вот он!

Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.

— Эй,— закричал он,— кто там у аппарата, так вашу эдак. Стрелять буду!

— Кому кричите?

— Видите, аппарат поблескивает?

— Вижу теперь, да.

— А вон, правее его,— сидит.

Лось, наконец, увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчая срезать на лету крылатого зверя. Но Лось вышиб у него оружие, крикнул:

— С ума сошел! Это марсианин!..

Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-синем небе. Лось вынул носовой платок и начал махать странной птице.

— Мстислав Сергеевич, поосторожнее, как бы он в нас чем-нибудь не шарахнулся оттуда.

— Спрячьте, говорю, револьвер.

Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогнутых подвижных крыла. Под ними, впереди, крутился теневой диск, видимо — воздушный винт. Позади седла — хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат подвижен и гибок, как живое существо.

Вот он нырнул и пошел у самой пашни, — одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке — яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, синился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в тридцати от людей.

Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы. Но когда Лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел и продолжал кричать пискливым, тонким голосом, указывая на поломанные растения.

— Чудак, обижается, — сказал Гусев и крикнул марсианину: — Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим...

— Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.

Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом.

В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки — в одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на ракат-лукум. Гусев понюхал.

— Тыфу, скажите, что едят!

Он вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочек. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.

Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам пополз многоногий зверек... Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.

Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку,— курил, усмехался.

— Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели?

— Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся.

— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три или двадцать четыре дня.

— Сколько?

— Вчера в Петрограде было восемнадцатое августа, а сегодня в Петрограде одиннадцатое сентября,— вот чудеса какие.

— Этого, вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич.

— Да этого и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули Землю, по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали,— едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело — наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве,— составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но если ско-

рость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца,— один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате,— увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела мы прожили в пути девятнадцать часов. И это на самом деле были девятнадцать часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралидита и предлагать каким-нибудь чудакам: вам не нравится жить в наше время,— хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато — какая жизнь! Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле — золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь.

Гусев охал, щелкал языком, много удивлялся:

— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья,— мы не отравимся?

Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул: пить можно! Хлебнул, крякнул.

— Вроде нашей мадеры.

Лось попробовал; жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошли тепло и особыенная легкая сила; голова же оставалась ясной.

Лось поднялся, потянулся, расправился,— хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом, несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную, новую жизнь.

Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок.

— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.

Решено было опять пойти к берегу и побродить ^{до} вечера по холмистой равнине.

Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забели сквозь заросль.

Вдруг Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.

— Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них, — взлетела пыль. Глаза исчезли. — Вон еще — гадина! — Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на Земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.

Заброшенный дом

От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по горелому, бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торчали ржавые остатки барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпуклые диски — около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор — по холмам — к древесным кущам, к развалинам.

Среди двух холмов стояла куща низкорослых, с раскидистыми, плоскими вершинами, бурых деревьев. Их ветви были корявы и крепки, листва напоминала мелкий мох, стволы — жилистые и шишковатые. На опушке, между деревьями, висели обрывки колючей сети.

Вошли в лесок, Гусев нагнулся и пихнул ногой из-под праха покатился проломанный человеческий череп, в зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мишистые ветви бросали в безветренном зное скучную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск, — он был привинчен к основанию кругло-

го металлического колодца. В конце леска виднелись развалины, — толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.

— Дома взорваны, Мстислав Сергеевич, — сказал Гусев. — Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем.

На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги.

Из рощицы Гусев и Лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно, выше других, каменное здание — с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, Лось сказал:

— По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, брошено.

Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощенному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из чернокровяного камня. В стенах — длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф — покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские, во всю ширину здания, ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу.

Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег, — она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу. Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу — разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие — из дисков, шаров и металли-

ческой сети, стоящая близ дверей,— все было покрыто слоем пыли.

Пыльный свет падал на желтоватые, с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории — борьбу желтокожих существ с краснокожими: морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд,— картины битв, нападение хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения. Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка.

— Странно, странно,— повторял Лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику,— повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы, понимаете, очень странно...

Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь,— она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом.

Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои.

Гусев пошел заглядывать в боковые — низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой — вдребезги разбитое зеркало, составляющее одну из стен, на полу — куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах — лохмотья одежд.

В третьей комнате, на возвышении, под высоким колодцем, откуда падал свет, стояло широкое ложе. С него до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду — следы жестокой борьбы. В углу, тычком, лежал второй скелет.

Здесь среди мусора Гусев отыскал несколько венцов чеканного, тяжелого металла,— видимо, украшения, предметы женского обихода,— маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.

— Пригодится,— сказал Гусев,— Машке подарю...

Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры,— внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с всклокоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал золотой обруч из звезд, над лбом он переходил в тонкую параболу, внутри ее заключались два шарика: рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе-знакомое, выплывающее из непостижимой памяти.

Сбоку статуи, в стене, темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не поддалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос — острый, клювом. На лбу между бровей — припухлость в виде увеличенного стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.

Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, открытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы.

Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта, Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху — на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой, корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных — огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящиков на

тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном.

Затаив дыхание, Лось оглядывал эту, с запахом тления и плесени, сокровищницу, где молчала, закованная в книги, мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.

Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой коричневой окраски. Одну из книг, с чертежами машин, Лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фотографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо приготовленный для зарядения и брошенный во время гибели дома.

Затем Лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль. Желтоватые ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосою. Эти, переходящие одна в другую, страницы были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страниц на страницу. Понемногу в ушах Лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка.

Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием: это была поющая книга.

— Мстислав Сергеевич,— раскатисто по дому пронесся голос Гусева,— идите-ка сюда, скорее.

Лось вышел в коридор. В конце его, в дверях, стоял Гусев, испуганно улыбаясь.

— Посмотрите-ка, что у них творится..

— Он ввел Лося в узкую полутемную комнату; в дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало, перед ним стояло несколько табуретов и кресел.

— Видите, шарик висит на шнурке; думаю,— золотой, дай сорву,— глядите, что получилось.

Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развеивающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу, сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло.

— Короткое замыкание, провода перегорели,— сказал Гусев.— Нам надо идти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро.

Закат

Раскинув узкие туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату.

Лось и Гусев торопливо шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине к берегу канала. Солнце быстро уходило за близкий край поля — и кануло. Ослепительное алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба и быстро-быстро покрывались серым пеплом,— гасли. Небо казалось непроглядным.

В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами.

Но уже по всему непомерно высокому небесному куполу начали высыпать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия,— ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась.

Дойдя до берега, Лось остановился и, указывая рукой на звезду, сказал:

— Земля.

Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плывущую между созвездиями далекую родину. Его лицо казалось осунувшимся, печальным.

— Земля,— повторил он.

Так они долго стояли на берегу древнего канала, над равниной с неясными в свете звезд очертаниями кактусов.

Но вот из-за резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений.

Гусев локтем толкнул Лося.

— Позади-то нас, поглядите.

Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами, сиял второй спутник Марса. Круглый желтоватый диск его, также меньше луны, клонился за зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски.

— Ну и ночь,— прошептал Гусев,— как во сне.

Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарагнулась чья-то тень. Мокнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Заскрежетало. Пискнуло — пронзительно, нестерпимо, тонко. Шевелились поблескивающие листья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как сеть.

Вдруг вкрадчивым, раздирающим воем огласилась ночь. Оборвало. Все стихло. Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю, высоко перескакивая через ожившие растения.

Наконец в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали. Присели, отпыхиваясь.

— Ну нет, по ночам в эти паучьи мesta я не ходок,— сказал Гусев. Отвинтил люк и полез в аппарат.

Лось еще медлил. Прислушивался, поглядывал. И вот он увидел — между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.

Лось глядит на Землю

Тень воздушного корабля исчезла. Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело. Внутри аппарата возился, бормотал Гусев, рассматривал,

прятал найденные вещицы. Потом голова его высунулась из люка лодки.

— Что вы ни говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камешкам—цены им нет. Вот дуреха-то моя обрадуется.

Голова его скрылась, вскоре он совсем затих. Счастливый был человек Гусев.

Но Лось спать не мог,— сидел, помаргивал на звезды, посасывал трубочку. Черт знает что такое! Откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим отличительным третьим стрекозиным глазом? А мозаика? Погибающие в море, летящие между звезд великаны. А знак параболы: рубиновый шарик — Земля и кирпичный — Марс? Знак власти над двумя мирами? Непостижимо. А поющая книга? А странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, почему весь этот край покинут, заброшен?

Лось выколотил трубку о каблук. Скорее бы настал день! Очевидно, что марсианин-летчик даст знать куда-нибудь в населенный центр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль именно послан за ними.

Лось оглянулся на небо. Свет красноватой звезды — Земли бледнел, она приближалась к зениту, лучик от нее шел в самое сердце.

Бессонной ночью, стоя в воротах сарай, Лось точно так же, с холодной печалью, глядел на восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лишь одни сутки отделяли его от того часа, от Земли,

Земля, Земля, зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно-жестокая к своим детям, все же любимая, — родина...

Ледяным холодом сжало мозг. Этот красноватый шарик Земли — точно горячее сердце... Человек, эфемирида, пробуждающийся на мгновение к жизни, он — Лось, один, своей безумной волей оторвался от родины, и вот, как унылый бес, один сидит на пустыре. Вот оно, вот оно, одиночество. Этого ты хотел? Ушел ты от самого себя?..

Лось передернул плечами от холода. Сунул трубку в карман. Влез в аппарат и лег рядом с похрапывающим Гусевым. Этот простой человек не предал родины, прилетел за тридевять земель, на девятое не-

бо, и здесь, как и там,—у себя дома.. Спит спокойно, совесть чиста.

От тепла, от усталости Лось задремал. Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем—машет ему, зовет, манит. Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов.

Марсиане

Ослепительно-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо-синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался, залитый солнцем, летучий корабль. Очертание его трехмачтового остова напоминало гигантского жука. Три пары острых крыльев простирались с боков его.

Корабль прорезал облака и, весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами. На крайних его коротких мачтах мощно ревели вертикальные винты, не давая ему опуститься. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. Винты остановились.

По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого, с диском посередине, автоматического ружья.

Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку на мазуре, поглядывал, как марсиане выстроились в два ряда. Их ружья лежали дулом на согнутой руке.

— Оружие, сволочи, как бабы, держат,— проворчал он.

Лось стоял, сложив на груди руки, улыбаясь. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Беэбородое узкое лицо голубоватого цвета.

Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат. Выпуклые светлые, ледяные глаза его остановились на Гусеве. Затем он глядел только на

Лося. Приблизился к людям, поднял маленькую руку в широком рукаве и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово:

— Талцетл.

Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением: Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо. Лось сказал:

— Земля.

— Земля,— с трудом повторил марсианин, поднял кожу на лбу. Шишки его потемнели. Гусев выставил ногу, кашлянул и сказал сердито:

— Из Советской России, мы — русские. Мы, значит, к вам, здрасте,— он дотронулся до козырька,— мы вас не обижаем, вы нас не обижайте... Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.

Голубоватое, умное лицо марсианина было неподвижно, лишь на покатом лбу его, между бровей, стало вздуваться от напряжения красноватое пятно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил знакомый звук, прозвучавший странно:

— Соацр.

Он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар:

— Тума.

Указав на одного из солдат, стоявших полукругом позади него, указал на Гусева, на себя, на Лося:

— Шохо.

Так он назвал словами несколько предметов и выслушал их значение на языке Земли. Приблизился к Лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровей. Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того как его коснулись, дернул на лоб козырек:

— Как с дикарями обращаются.

Марсианин подошел к аппарату и долго, со сдержанным удивлением, затем — поняв, видимо, его принцип, — с восхищением рассматривал огромное стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг всплеснул руками, обернулся к солдатам и быстро-быстро стал говорить им, подняв к небу стиснутые руки.

— Аиу,— ответили солдаты завывающими голосами.

Он же положил ладонь на лоб, вздохнул глубоко,— овладел волнением и, повернувшись к Лосю, уже без холода, потемневшими, увлажненными глазами взглянул ему в глаза.

— Аиу,—сказал он,—аиу утара шохо, дáциа Тума ра гео Талцетл.

Вслед за этим он рукою закрыл глаза и поклонился низко. Выпрямился, подозывал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке аппарата: начертил яйцо, над ним крышку, сбоку—фигуру солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал:

— Предлагает кругом аппарата палатку поставить и охрану, только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас веши не растаскали, люки-то без замков.

— Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.

— Так ведь там инструменты, одёжа... А я с одним, вот с энтим солдатежком, переглянулся,—рожа у него самая ненадежная.

Марсианин слушал этот разговор со вниманием и почтением. Лось знаками показал ему, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин поднес к большому тонкому рту свисток. С корабля ответили таким же пронзительным свистом. Тогда марсианин стал высвистывать какие-то сигналы. На верхушке средней, более высокой мачты поднялись, как волосы, отрезки тонких проволок, раздалось потрескивание искр.

Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Гусев оглянулся на них, усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, крепко задвинул люк и, указывая на него солдатам, хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе. Марсиане с изумлением наблюдали за этими движениями.

— Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости — податься нам некуда,—сказал Лось, засмеялся, вскинул мешок на плечо, и они пошли к кораблю.

На мачтах его с сильным шумом закрутились вертикальные винты. Крылья опустились. Завыли пропеллеры. Гости, быть может пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

По ту сторону зубчатых гор

Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам.

В светлой, соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, шуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар,— с ним он семь лет не расставался на фронтах,— хлопнул по крышке,— «покурим, товарищи»,— и предложил папирос.

Марсиане с испугом затрясли головами. Один все-таки взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали птичьими голосами:

— Шбхо тáo тáвра шдхо-ом.

Красноватые, востреные лица их с ужасом следили, как «шох» глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились и снова подсели к человеку.

Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги:

— Гусев—это моя фамилия. Гусев—от гусей: здоровенные такие птицы на Земле, вы таких сроду и не видали. Зовут меня—Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика: пулеметы не пулеметы,— шашки наголо — «даешь», сукин сын, позицию!— и рубать. И я весь сам изрубленный, мне на плевать. У нас в военной академии даже особый курс читают: «Рубка Алексея Гусева»,—не верите? Корпус мне предлагали.— Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом.— Надоело, нет, извините. Семь лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: «Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети». Вот, значит, здрасте.

Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой, мускатного запаха жидкостью. Гусев вынул из мешка полбутилки спирту, захваченной с Земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень,— предлагал меняться.

Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона зажигалку.

Тем временем Лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на упывающую внизу унылую, холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы.

Указывая на эту пустыню, Лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв. Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор.

Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что, кроме гула винтов и посвистывания ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков: машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо, да на верхушках передней и задней мачт потрескивали две эллиптические корзины из серебристой проволоки.

Лось спрашивал у марсианина названия предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произнести звуки геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук Лося и швырнул за борт.

От высоты, разреженного воздуха у Лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывающейся в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден.

— Лизиазира,— кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы.

Глядя вниз на эти скалы, так печально напомнившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, Лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов,—обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее, из-за гребня скалы, поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы; казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы.

Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, свернули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Следя за их снижающимся полетом, Лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды.

Озеро начало ходить зыбью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала.

— Соám,— проговорил марсианин торжественно.

Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные, зыбкие волны зноя виднелась канареично-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал:

— Азора.

Корабль слегка поднялся. Влажный, сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой, сняющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареочными лугами, Азора, что означало—радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве.

По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью

летели через воду или за рощу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора.

В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел, наконец, большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса.

Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны...

— Ро,— сказал марсианин, важно подняв палец.

Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линий и точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз, на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись,— понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже.

Перегнувшись через борт, Лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию наполненных водою каналов. Так вот она — тайна: круглые пятна на диске Марса были цирками — водными хранилищами, линии треугольников и полукругий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопические стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу:

— Тао хацха ро хамагацитл.

Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежало розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое, словно посевом, правильными рядами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов — бледного рисунка на диске Марса.

Равнина переходила в низы высокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелками искрами отрезки проволок. За хол-

мами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы.

Марсианин сказал:

— Соацера.

Соацера

Голубоватые очертания Соацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, поднимаясь из-за холмов, занимали все большее пространство, то-нули за мглистым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю.

Цветущий канал отошел к северу. На восток от города расстипалось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую, длинную тень, возвышалась гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишаями.

Каменный, обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом.

— Магацитл, — сказал марсианин и указал на небо.

Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, Лось понял, что кучи щебня на равнине — ямы, холмы — были остатками древнейшего города. Новый город, Соацера, начинался за сверкающим озером, на запад от этих развалин.

Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами.

Первой домчалась, описала кругой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица.

Лось встал, держась за трос, снял шлем,— ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных лицах подлетающих марсиан было возбуждение, восторг, ужас.

Теперь над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем, летели сотни воздушных экипажей. Вот скользнул сверху вниз в корзине под парашютом размахивающий руками толстяк в полосатом колпаке. Вот мелькнуло шишковатое лицо, глядящее в трубку. Вот озабоченный, с развевающимися волосами, востроносый марсианин, вертаясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на Лося. Вот пронеслась, вся в цветах, плетеная лодка,— три женских, большеглазых бледных лица, голубые чепцы, голубые летящие рукава, златотканые шарфы.

Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу — пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов,— все было как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шепотом:

— Гляди, гляди, эх ты, мать честная!..

Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Тотчас посыпались горохом с неба сотни лодок, корзин, крылатых седел,— садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходившихся от нее звездою, шумели толпы народа,— бежали, кидали цветы, бумаги, махали платочками.

Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до трети высоты дома, стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, Высший совет инженеров — высший орган управления всеми странами Марса.

Марсианин-спутник указал Лося — ждать. Солдаты сбежали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напирающие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся

площадь, на вздымающееся над головами множество крыльев, на громады сероватых или черно-красных зданий, на прозрачные, за крышами, очертания башен.

— Ну, город, вот это—город!—повторял он, притопывая.

На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.

Сойдя до середины лестницы, опираясь на трость, он долго смотрел запавшими, темными глазами на пришельцев с Земли. Глядел на него и Лось—внимательно, настороженно.

— Дьявол, уставился! — шепнул Гусев. Обернулся к толпе и уже беспечно крикнул:— Здравствуйте, товарищи марсиане, мы к вам с приветом от Советских республик... Для установления добрососедских отношений...

Толпа изумленно вздохнула, зароптала, зашумела, надвинулась. Мрачный марсианин захватил горстью бороду и перевел глаза на толпу, окинул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволнованное море голов. Он обернулся к стоявшим на лестнице, сказал несколько слов и, подняв трость, указал ею на корабль.

Тотчас к кораблю сбежал один из марсиан и тихо и быстро проговорил что-то нагнувшемуся к нему через борт лысому марсианину. Раздались сигнальные свистки, двое солдат взбежали на борт, завыли винты, и корабль, грунно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении.

В лазоревой роще

Соацера утонула далеко за холмами. Корабль летел над равниной. Кое-где виднелись однообразные линии построек, столбы и проволоки подвесных дорог, отверстия шахт, груженые шаланды,двигающиеся по узким каналам.

Но вот из лесных кущ все чаще стали подниматься скалистые пики. Корабль снизился, пролетел над

ущельем и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям.

Лось и Гусев взяли мешки и вместе с лысым их спутником пошли по лугу, вниз к роще.

Водяная пыль, бьющая из-под дерева, играла радугами над сверкающей влагою кудрявой травой. Стадо низкорослых длинношерстых животных, черных и белых, паслось по склону. Было мирно. Тихо шумела вода. Подувал ветерок.

Длинношерстые животные лениво поднимались, давая дорогу людям, и отходили, переваливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские, кроткие морды. Опустились на луг желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды.

Подошли к роще. Пышные, плакучие деревья были лазурно-голубые. Смолистая листва шелестела сухо повисшими ветвями. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный, сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову.

Рощу пересекало много тропинок, посыпанных оранжевым песком. На скрещении их, на круглых полянах, стояли старые, иные поломанные, в лишаях, большие статуи из песчаника. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стены.

Дорожка загибала к озеру. Открылось его темно-синее зеркало с опрокинутой вершиной далекой скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плаучих деревьев. Сияло пышное солнце. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидящие статуи, претекавшиеся, поросшие ползучей растительностью.

На ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески-тонкой, бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием покрытого мхом, вечно улыбающегося сквозь сон, сидящего Магацита. Она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову.

— Аэлита,— прошептал марсианин, прикрыл глаза рукавом и потащил Лося и Гусева с дорожки в чащу.

Скоро они вышли на большую поляну. В глубине ее, в густой траве, стоял угрюмый, с покатыми стенами, серый дом. От звездообразной песчаной пло-

щадки перед его фасадом: прямые дорожки бежали через луг вниз к роще, где между деревьями виднелись низкие каменные постройки.

Лысый марсианин свистнул. Из-за угла дома появился низенький, толстенький марсианин в полосатом халате. Багровое лицо его было точно натерто свеклой. Морщась от солнца, он подошел, но, услышав — кто такие приезжие, сейчас же приоровился удирать за угол. Лысый марсианин заговорил с ним повелительно, и толстяк, приседая от страха, обличиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта, повел гостей в дом.

Отдых

Гостей отвели в светлые, маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Стены столовой и спален были обтянуты белыми циновками. В углах стояли кадки с цветущими деревцами. Гусев нашел помещение подходящим: «Вроде багажной корзины, очень славно».

Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирая коричневым платком череп и время от времени каменел, выкатывая на гостей склерозные глаза,—шептал торопливо, беззвучно какие-то, должно быть, заклинания.

Он напустил воду в бассейн и провел Лося и Гусева каждого в свою ванну,—со дна ее поднимались густые клубы пара. Прикосновение к безмерно уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды было так сладко, что Лось едва не заснул в бассейне. Управляющий вытащил его за руку.

Лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол множеством тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами. Хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба таяли во рту. Не было ни ножей, ни вилок, только — в каждое блюдо — воткнута крошечная лопаточка. Управляющий каменел, глядя, как люди с Земли пожирают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Особенно хорошо было вино с запахом сырости цветов. Оно испарялось во рту и горячей бодростью текло по жилам.

Приведя гостей в спальню, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяла, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел «белыми гигантами». Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами.

Лось открыл глаза. Синеватый искусственный свет лился из потолочного колодца. Было тепло и приятно лежать. «Что случилось? Где я лежу?» Но так и не сообразил,— с наслаждением снова закрыл глаза.

Проплыли какие-то лучезарные пятна,—словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти в его сон, наполняло его чудесной тревогой.

Сквозь дремоту, улыбаясь, он хмурил брови,—сился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих солнечных пятен. Но еще более глубокий сон прикрыл его облаком.

• • • • •

Лось сел на постель. Так сидел некоторое время, опустив голову. Поднялся, дернул вбок штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды, незнакомый их чертеж был странен и дик.

— Да, да, да,—проговорил Лось,— я не на Земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я — в новом мире. Ну, да: я же мертв. Жизнь осталась там...

Он воинил ногти в грудь там, где сердце.

— Это не жизнь, не смерть. Живой мозг, живое тело. Но жизнь осталась там...

Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по Земле, по самому себе, жившему там, за звездами. Словно оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной, черной пустоте. Он опять повалился на подушки.

• • • • •

— Кто здесь?

Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистели птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул.

В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь,—за нею стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов.

— Аиу утара Аэлита,— прошептал он, протягивая цветы.

Туманный шарик

За утренней едой Гусев сказал:

— Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и пожалуйте,—сиди в захолустье. В ваннах прохладиться,—за этим ведь лететь не стоило. В город они небось нас не пустили,—бородатый-то, помните, как насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом?

— А вы не торопитесь, Алексей Иванович,—сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко,— поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.

— Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохладиться приехал.

— Что же, по-вашему, мы должны предпринять?

— Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич, уж не наюхались ли вы чего-нибудь сладкого?

— Скориться хотите?

— Нет, не скориться. А сидеть—цветы нюхать,— этого и у нас на Земле сколько в душу влезет. А я думаю,—если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить.

— Чудак вы, Алексей Иванович.

— А вот посмотрим, кто из нас чудак.—Гусев одернул ременный пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились.—Это дело трудное, я сам понимаю: нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно, но вы сами видели: на Марсе у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный.

— Революцию, что ли, хотите устроить?

— Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что

ли, сущеного привезем? Нет, вернуться и предъявить: пожалуйте—присоединение к Ресефесер планеты Марса. Вот в Европе тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич.

Лось задумчиво поглядывал на него: нельзя было понять — шутит Гусев или говорит серьезно,— хитрые, простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшина.

Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво:

— Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конкистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем он грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы: приплыть к берегу еще мало,— нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир,— какие сокровища! Мудрость, мудрость — вот что, Алексей Иванович, нужно вывезти на нашем корабле.

— Трудно нам будет с вами говориться, Мстислав Сергеевич. Не легкий вы человек.

Лось засмеялся:

— Нет, я тяжелый только для самого себя, говоримся, милый друг.

В дверь поскреблись. Слегка сядясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешил поднялся, провел ладонью по белым волосам. Гусев решительно закрутил усы — торчком. Гости прошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома.

Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие

между плоскими шкафами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов.

Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал — Аэлита.

Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками.

— Эллио утара гео,— легким, как музыка, нежным голосом, почти шепотом, проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок.

В ответ Лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно:

— Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Аэлита.

Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством:

— Рады познакомиться — командир полка Гусев, инженер — Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.

Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, ее лицо стало спокойнее, зрачки — меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую часть руки ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней.

Теперь Лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.

Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читально-

го столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей.

Так они молчали небольшое время. Понемногу Лось начал чувствовать покой и сладость,—сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса:

— Хорошая девушка, очень приятная девушка.

Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента,—так чудесен был ее голос. Страна за строкою повторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно.

Она снова протянула перед собою руку, ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик, с небольшое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался.

Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное, опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, пропустили темные пятна. Вглядевшись, Лось вскрикнул: на ладони Аэлиты лежал земной шар.

— Талцетл,—сказала она, указывая на него пальцем.

Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, тихоокеанский берег Азии. Гусев зевновался.

— Это — мы, мы — русские,—сказал он, тыча ногтем в Сибирь.

Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря.

— Здесь,—сказал Лось и указал на Финский залив.

Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты,—и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящаяся от нее ниточка железных дорог и — надпись на зеленоватом поле: «Петроград».

Аэлита всмотрелась и заслонила шар,—он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на Лося, она покачала головой.

— Одео, хо-суа,— сказала она, и он понял: «Со-редоточьтесь и вспоминайте».

Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга— гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы за-водов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу.

Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания Лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его про-ступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидящая русая девушка,— лицо ее задрожа-ло, исчезло, а над нею — два сфинкса в тиарах. По-плыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пы-лающий горн, угрюмый Хохлов, раздувающий угли.

Долго глядела Аэлита на странную жизнь, прохо-дящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться: в них настойчиво втор-гались какие-то совсем иного очертания картины — полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бе-гущие, падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо. Гусев шумно вздох-нул. Аэлита с тревогой обернулась к нему и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез.

Аэлита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула костяной валик и вложила в чи-тальний — с экраном — столик. Затем она потянула за шнур, — верхние окна в библиотеке задернулись си-ними шторами. Она придвигнула столик к скамье и повернула включатель.

Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигуры марсиан, животных, дома, деревья, утварь.

Аэлита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались, она называла гла-гол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками, и раздавалась едва уловимая музыкальная фраза,— Аэлита называла по-нятие.

Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки глядели на Лося пепельные глаза, голос Аэлита сильными и мягкими чарами проникал в сознание. Кружилась голова.

Лось чувствовал,— мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели как в тумане.

— Идите и лягте спать,— сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.

На лестнице

Прошло семь дней.

Когда впоследствии Лось вспоминал это время,— оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений.

Лось и Гусев просыпались рано поутру. После ванны и легкой еды шли в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Аэлита встречали их на пороге. Она говорила почти уже понятные слова. Было чувство невыразимого покоя в тишине и полумраке этой комнаты, в тихих словах Аэлита,—влага ее глаз переливалась, глаза раздвигались в сферу, и там шли сновидения. Бежали тени по экрану. Слова вне воли проникали в сознание.

Слова — сначала только звуки, затем сквозящие, как из тумана, понятия — понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда Лось произносил имя — Аэлита, оно волновало его двойным чувством: печалью первого слова АЭ, что означало — «видимый в последний раз», и ощущением серебристого света — ЛИТА, что означало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей матерней вливался в сознание.

Семь дней продолжалось это обогащение. Уроки были — утром и после заката — до полуночи. Наконец Аэлита, видимо, утомилась. На восьмой день гостей не пришли будить, и они спали до вечера.

Когда Лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Хрустальным, однообразным голосом посвистывала какая-то птичка. Лось быстро оделся и, не будя Гусева, пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Тогда Лось вышел во двор, первый раз за эти семь дней.

Поляна полого спускалась к роще, к низким постройкам. Туда, с унылым поревыванием, шло стадо неуклюжих, длинношерстых животных — хаши, — полумедведей, полукоров. Косое солнце золотило кудрявую траву, — весь луг пыпал влажным золотом. Пролетели на озеро изумрудные журавли. Вдали выступил, залитый закатом, снежный конус горной вершины. Здесь тоже был покой, печаль уходящего в мире и золоте дня.

Лось пошел к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами, тот же был воздух — тонкий, холдеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу, — раскрылись глаза и уши, — он узнал имена веющей.

Пылающими пятнами сквозило озеро сквозь ветви. Но когда Лось подошел к воде, солнце уже закатилось, огненные перья заката, языки легкого пламени побежали, охватили полнеба золотым пламенем. Быстро-быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось, темнело, и вот уже зажглись звезды. Странный рисунок созвездий отразился в воде. В излучине озера, у лестницы, возвышались черными очертаниями два каменных гиганта, — сторожа тысячелетий сидели, обращенные лицами к созвездиям.

Лось подошел к лестнице. Глаза еще не привыкли к быстро наступившей темноте. Он облокотился о подножие статуи и вдыхал сырватую влагу озера, — горьковатый запах болотных цветов. Отражения звезд расплывались, — над водою закурился тончайший туман. А созвездия горели все ярче, и теперь ясно были видны заснувшие ветки, поблескивающие камешки и улыбающееся лицо сидящего Магацита.

Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежащая на камне. Тогда он отошел от статуи и сейчас же увидел внизу на лестнице Аэлиту. Она си-

дела неподвижно, глядя на отражение звезд в черной воде.

— Аиу ту ира хасхе, Аэлита,— проговорил Лось, с изумлением прислушиваясь к странным звукам своих слов. Он выговорил их, как на морозе, с трудом. Его желание,— могу ли я быть с вами, Аэлита?—само претворилось в эти чужие звуки.

Аэлита медленно обернула голову, сказала:

— Да.

Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлиты были покрыты черным колпачком—капюшоном плаща. Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно,— лишь большие тени в глазных впадинах.

Холодноватым голосом, спокойно, она спросила:

— Вы были счастливы там, на Земле?

Лось ответил не сразу,—всматривался: ее лицо было неподвижно, рот печально сложен.

— Да,— ответил он,— да, я был счастлив.

— В чем счастье у вас на Земле?

Лось опять всмотрелся.

— Должно быть, в том счастье у нас на Земле, чтобы забыть самого себя. Тот счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить для тех, кто дает эту полноту, согласие, радость.

Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого беловолосого великаны, человека.

— Такое счастье приходит в любви к женщине,— сказал Лось.

Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась?—нет. Не то заплакала?—нет. Лось тревожно заворочался на мшистой ступени. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом:

— Зачем вы покинули Землю?

— Та, кого я любил, умерла,—сказал Лось.— Не было силы побороть отчаяние, жизнь для меня стала ужасна. Я — беглец и трус.

Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку Лося,— коснулась и снова убрала руку под плащ.

— Я знала, что в моей жизни произойдет это,— проговорила она, словно в раздумье.— Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы. Светлые, не наши, реки. Облака, облака, огром-

ные, белые, и дожди,— потоки воды. И люди-великаны. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это—ашхе, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашхе, как непроросшее зерно. Ашхе — страшная сила, великая мудрость. Но я не знаю, что — счастье?

Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок. Колпачок ее опять задрожал.

— Уж много лет, по ночам, я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня: он сказал, что я погибну.— Она обернула к Лосю лицо и вдруг усмехнулась.

Лосю стало жутко: так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания.

— Учитель сказал: «Хао погубит тебя». Это слово означает исхождение.

Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже, на глаза.

После молчания Лось сказал:

— Аэлита, расскажите мне о вашем знании.

— Это тайна,—ответила она важно,— но вы человек, я должна буду вам рассказать многое.

Она подняла лицо. Большие созвездия, по обе стороны Млечного Пути, сияли и мерцали так, как будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлита вздохнула.

— Слушайте,— сказала она,— слушайте меня внимательно и спокойно.

Первый рассказ Аэлиты

Тума, то есть Марс, двадцать тысячелетий тому назад был населен Аолами — оранжевой расой. Дикие племена Аолов — охотники и пожиратели гигантских пауков — жили в экваториальных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих

племен. Другая часть Аолов населяла южные заливы большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж. До сих пор там еще видны холмы из рыбьих костей.

Третья часть Аолов селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разводили длинношерстых хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл.

Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азора, появился необыкновенный шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазиры и, когда ему минуло семнадцать лет, спустился в селения Азоры, ходил из города в город и говорил так:

«Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве Сына Неба. Он был велик ростом, его лицо было бело, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходят свет и безумие. Я испугался и упал ниц и лежал долго, как мертвый. Я слышал, как Сын Неба взял мой посох и погнал моих хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему: из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы оставаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню.

Сын Неба ударял посохом в камень, и выступала вода. Хаши и я пили эту воду. И Сын Неба сказал мне: «Будь моим рабом». Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи».

Так говорил пастух жителям городов. И он говорил еще:

«Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая— когда придет гибель. Но уже хищный ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь. У вас нет столь острых мечей, чтобы поразить злого, у вас нет столь крепких стен, чтобы от

него отгородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от злого. Я вижу в небе огненную черту, и злой Сын Неба падает в ваши сelenья. Глаз его как красный огонь Талцетл».

Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще:

«Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль — стань тенью, и нос ча не услышит запаха твоей крови. Когда ихи падает из розового облака — стань тенью, и глаза ихи напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун — олло и литха — ночью злой паук, цитли, оплетает паутиной твою хижину, — стань тенью, и цитли не поймает тебя. Стань тенью, бедный сын Тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу. Закопай свое несовершенство под порогом хижины. Иди к великому гейзеру Соам и омойся. И ты станешь невидимым злому Сыну Неба, — напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».

Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним, на круглое озеро, к великому гейзеру Соам.

Там иные спрашивали: «Как можно закопать зло под порогом хижины?» Иные сердились и кричали пастуху: «Ты обманываешь, — обиженные нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами». Иные сговаривались: «Отведем безумного пастуха на скалу и бросим его в горячее озеро, пусть сам станет тенью».

Сlyша это, пастух брал уллу, деревянную дудку, внизу которой на треугольнике были натянуты струны, садился среди сердитых, раздраженных и недовивающих и начинал играть и петь. Играли он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое несовершенство под порогом хижины.

Три года учил пастух. На четвертое лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по сelenьям и говорил: «Не перешагивайте через порог, бойтесь зла в себе, бойтесь потерять чистоту». Его слушали, и были такие, которые не хотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины

городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро.

Учение пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улле. Но было также, что вожди иных племен казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано:

«Сорок дней и сорок ночей падали на Туму Сыны Неба. Звезда Талцетл всходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из Сынов Неба падали мертвыми, многие убивались о скалы, тонули в южном океане, но многие достигли поверхности Тумы и были живы».

Так рассказывает летопись о великом переселении Магацитлов, то есть одного из племен земной расы, погибшей от потопа двадцать тысячелетий тому назад.

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца аппаратах, пользуясь для движения силой распадения материи. В продолжение сорока дней они покидали Землю.

Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве, множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка.

Летопись говорит:

«Они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У Сынов Неба были желтые и плоские лица. Туловища их и колени покрывал бронзовый панцирь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке Сын Неба держал короткий меч, в правой — свиток с формулами, которые погубили бедные и невежественные народы Тумы».

Таковы были Магацитлы, свирепое и могущественное племя. На Земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом Стак Золотых Ворот.

Здесь, выйдя из бронзовых яиц, они пошли в селения Аолов и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хижины на равнины и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тог-

да они сказали Аолам — идти на равнину рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.

Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска Аолов вышли на равнину и покрыли ее как туча.

Пришельцев было мало. Но они были крепки, как скалы, могучи, как волны океана, свирепы, как буря. Они разметали и уничтожили войска Аолов. Пылали селения. Разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Пожиратели трупов — ихи — разжирели и не могли летать. Наступал конец мира.

Тогда вспомнили пророчество: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». Много Аолов пошло к великому гейзеру Соам. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях очищающую от зла песню уллы. Многие делились друг с другом имуществом. Искали в себе и друг в друге доброе и с песнями, со слезами радости приветствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в пастуха построили Священный Порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняли Порог.

Войска Аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков. Стали рабами остатки рыбарей-поморов. Но Магацитлы не трогали верующих в пастуха, не касались Священного Порога, не приближались к гейзеру Соам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки — песню уллы.

Так минуло много кровавых и печальных лет.

У пришельцев не было женщин, — завоеватели должны были умереть, не оставив потомства. И вот, в горах, где скрывались Аолы, появился вестник — прекрасный лицом Магацитл. Он был без шлема и мечи. В руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням Священного Порога и стал говорить Аолам, собравшимся ото всех ущелий:

«Моя голова открыта, моя грудь обнажена, — поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы — могущественны. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу, называемую Млечным Путем. Мы покорили Туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и боль-

шие каналы, дабы собирать воды и орошать доныне бесплодные равнины Тумы. Мы построим большой город Соацеру, что значит Солнечное Селенье, мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предназначения. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим от них могучее племя, и оно населит материки Тумы. Идите к нам и помогите нам строить».

Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к Порогу. Глаза его были закрыты. И все видели на лбу его третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленный.

Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимою мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам».

Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собой стада хаши. Магацитлы взяли девственниц Аолов и родили от них голубое племя Гор. Тогда же начаты были постройкою шестнадцать гигантских цирков Ро, куда собирались вода во время таяния снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены.

Из пепла возникли новые селения Аолов. Поля давали пышный урожай.

Были возведены стены Соацеры. Во время постройки цирков и стен Магацитлы употребляли гигантские подъемные машины, приводившиеся в движение удивительными механизмами. Силою знания Магацитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое знание в книги — цветными пятнами и звездными знаками.

Когда умер последний пришелец с Земли — с ним ушло и Знание. Лишь через двадцать тысячелетий мы, потомки племени Гор, снова прочли тайные книги Алантов.

Случайное открытие

В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно — для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, ле-

стниц, пустынных зал, галерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал: «Богато живут, черти, но скучно».

В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал птичьими словами, бравил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее вспыхивало масляное пламя над сковородами. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бравившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину сводов.

— Чад у вас, чад, чад,— сказал им Гусев по-русски,— колпак над плитой устройте. Эй, варвары, а еще марсиане!

Махнув рукой на их перепуганные лица, он вышел на черное крыльце. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил.

Внизу поляны, на опушке, мальчик-пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда в высокой траве по тропинке шла к нему женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмакиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол. Она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалила белые веселые зубы.

Гусев звал ее Ихонка, хотя имя ей было — Иха,— племянница управляющего, смешливая, смуглосиневатая, полненькая девушка.

Она живо пробежала мимо Гусева,— только сморщила нос в его сторону. Гусев приоровился было дать ей сзади «леща», но воздержался. Сидел, курил, поджидал.

Действительно, Ихонка скоро опять явилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от Сына Неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски.— Дура ты, Ихонка, жизни настоящей не понимаешь.

Иха ответила ему, и Гусев, будто сквозь сон, понял ее слова:

— В школе я учила священную историю; там говорилось, что Сыны Неба — злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем Сыны Неба не злы.

— Да, добрые,— сказал Гусев, прищурив один глаз.

Иха подавилась смехом, кожура шибко летела у нее из-под ножика.

— Мой дядя говорит, будто вы, Сыны Неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого не замечаю.

— Неужели? А чего же вы замечаете?

— Слушайте, вы мне отвечайте по-нашему,— сказала Ихонка,— а по-вашему я не понимаю.

— А по-вашему у меня говорить нескладно выходит.

— Чего вы сказали? — Иха положила ножик, до того ее распирало от смеха.— По-моему, у вас на Красной Звезде все то же самое.

Тогда Гусев кашлянул, придинулся ближе. Иха взяла корзинку и отодвинулась. Гусев кашлянул и еще придинулся. Она сказала:

— Одежду пропрете — по ступенькам елозить.

Может быть, Иха сказала это как-нибудь по-другому, но Гусев именно так и понял.

Он сидел совсем близко. Ихонка коротко вздохнула. Нагнула голову и сильнее вздохнула. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихонку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась. Но он очень крепко поцеловал ее в рот. Иха изо всей мочи прижала к себе корзинку и ножик.

— Так-то, Ихонка! — Она вскочила и убежала.

Гусев остался сидеть, пощипывая усики. Усмехался. Солнце закатилось. Высыпали звезды. К самым ступенькам подкрался какой-то длинный мохнатый зверек и глядел на Гусева фосфорическими глазами. Гусев пошевелился,— зверек зашипел, исчез, как тень.

— Да, пустяки эти надо все-таки оставить,— сказал Гусев. Одернул пояс и пошел в дом. В коридоре сейчас же мотнулась перед ним Ихонка. Он пальцем поманил ее, и они пошли по коридору. Гусев, морщась от напряжения, заговорил по-марсиански:

— Ты, Ихочка, так и знай: если что — я на тебе женюсь. Ты меня слушайся. (Иха повернулась к стене лицом, — уткнулась. Он оттащил ее от стены, крепко взял под руку.) Погоди носом в стену соваться, — я еще не женился. Слушай, я, Сын Неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь новый, порядков не знаю. Ты мне должна помогать. Только, смотри, не ври. Вот что ты мне скажи, — кто такой наш хозяин?

— Наш хозяин, — ответила Иха, с усилием вслушиваясь в странную речь Гусева, — наш хозяин — властелин надо всеми странами Тумы.

— Вот тебе — здравствуй! — Гусев остановился. — Врешь? (Поскреб за ухом.) Как же он официально называется? Король, что ли? Должность его какая?

— Зовут его Тускуб. Он — отец Аэлиты. Он — глава Высшего совета.

— Так. Понятно.

Гусев шел некоторое время молча.

— Вот что, Ихочка, в той комнате, я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне, как оно соединяется.

Они вошли в узкую полутемную комнату, уставленную низкими креслами. В стене белелось туманное зеркало. Гусев повалился в кресло, поближе к экрану. Иха спросила:

— Что хотел бы видеть Сын Неба?

— Покажи мне город.

— Сейчас ночь, работа повсюду окончена, фабрики и магазины закрыты, площади пустые. Быть может — зрелища?

— Показывай зрелища.

Иха воткнула включатели в цифровую доску и, держа конец длинного шнура, отошла к креслу, где Сын Неба сидел, вытянув ноги.

— Народное гулянье, — сказала Иха и дернула за шнур.

Раздался сильный шум — угрюмый тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась неизмерная перспектива сводчатых стеклянных крыши. Широкие снопы света упирались в огромные плакаты, в надписи, в клубы курящегося, многоцветного дыма. Внизу кишили головы, головы, головы. Кое-где, как

летучие мыши, вверх, вниз пролетали крылатые фигуры. Стеклянные своды, перекрещивающиеся лучи света, водовороты толпы уходили в глубину, терялись в пыльной, дымной мгле.

— Что они делают? — закричал Гусев, надрывая голос, — так велик был шум.

— Они дышат драгоценным дымом. Вы видите клубы дыма? — это курятся листья хавры. Это драгоценный дым. Он называется дымом бессмертия. Кто вдыхает его, видит необыкновенные вещи: кажется, будто никогда не умрешь, — такие чудеса можно видеть и понимать. Многие слышат звук уллы. Никто не имеет права курить хавру у себя на дому, — за это наказывают смертью. Только Высший совет разрешает курение, только двенадцать раз в году в этом доме зажигают листья хавры.

— А те вон что делают?

— Они вертят цифровые колеса. Они угадывают цифры. Сегодня каждый может загадать число, — тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы. Высший совет дарит ему прекрасный дом, поле, десять хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье — угадать.

Объясняя, Иха присела на подлокотник кресла, Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Она попыталась выпростаться, но затихла, сидела смирно. Гусев много дивился на чудеса в туманном зеркале. «Ах, черти, ах, безобразники!» — Затем попросил показать еще что-нибудь.

Иха слезла с кресла и, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доски, — не попадала включателями в дырки. Когда же вернулась к креслу и опять села на подлокотник, вертя в руке шарик от шнура, лицо у нее было слегка одурелое. Гусев снизу вверх поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас.

— Тебе, девка, совсем замуж пора.

Ихочка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладить ее по спине, чувствительной, как у кошки.

— Ах ты, моя славная, красивая, синяя.

— Глядите, вот еще интересное, — проговорила она совсем слабо и дернула за шнур.

Половину озарившегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно произ-

носивший слова. Спина качнулась, отодвинулась с пол-я зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине упирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Внизу, вокруг стола, сидели, опустив головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречали корабль с людьми.

Перед столом, покрытым парчой, стоял отец Аэлиты, Тускуб. Тонкие губы его двигались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был, как каменный. Тусклые, мрачные глаза глядели неподвижно перед собой,— прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот он повторил несколько раз — Талцетл — и опустил, как бы поражая, руку со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин, с широким бледным лицом, поднялся и бешено, белесыми глазами глядя на Тускуба, крикнул:

— Не они, а ты!

Ихочка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела и не слышала,— большая рука Сына Неба поглаживала ее спину. Когда в зеркале раздался крик и Гусев несколько раз переспросил: «О чём, о чём они говорят?» — Ихочка точно проснулась — разинула рот, уставилась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур.

Зеркало погасло.

— Я ошиблась... Я нечаянно соединила.. Ни один шохо не смеет слушать тайны Высшего совета.— У Ихочки стучали зубы. Она запустила пальцы в рыжие волосы и шептала в отчаянии: — Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега.

— Ничего, ничего, Ихочка, я никому не скажу.— Гусев привалил ее к себе и гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихочка затихла, закрыла глаза.

— Ах, дура, ах, девчонка! Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.

Он почесывал у неё пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Ихочка подобрала ноги, свернувась клубочком. Глаза у нее светились, как у давшего зверька. Гусеву стало жутковато.

В это время послышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихочка слезла с кресла и нетвердо пошла к двери.

Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал:

— Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил — зеркало соединять, и наткнулись мы как раз на заседание Высшего совета. Кое-что я понял.. Надо меры принимать,— убьют они нас, Мстислав Сергеевич, поверьте мне,— этим кончится.

Лось слушал и не слышал,— мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову:

— Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушите-ка свет.

Гусев постоял, проговорил мрачно:

— Так.

И ушел спать.

Утро Аэлиты

Аэлита проснулась рано и лежала, облокотившись. Ее широкая, открытая со всех сторон постель стояла, по обычаяу, посреди спальни на возвышении. Шатер потолка переходил в высокий мраморный колодезь,— оттуда падал рассеянный утренний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полу-мраке,— столб света спускался лишь на снежные простыни, на подушечки, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты.

Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходили перед ее закрытыми глазами. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей и рассматривающей утомительные картины и в полуза-бытии думала: какие напрасные сновидения!

Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем и сейчас лежала неподвижно. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень, очень нехорошо.

«Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно-давно пережитое. Тревога крови — возврат в ущелья, к стадам, к кострам. Весенний ветер, тревога и зарождение. Рожать, растить существа

для смерти, хоронить, и снова — тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни».

Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми, но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, надела плетеные туфли, накинула на голые плечи халатик и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн.

На нижней ступени она остановилась, — было приятно стоять в луче солнечного света, бьющего сквозь окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду и там увидела свое отражение, луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна.

Купанье освежило ее, мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом, — так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комната.

Аэлита присела у туалетного зеркала, привела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем цветочной эссенцией лицо, шею и руки, исподлобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску.

В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет: книжные шкафы, картограммы и чертежи на вращающихся призмах. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных, тонких губ:

— Как спала, Аэлита?
— Хорошо. В доме все хорошо.
— Что делают Сыны Неба?
— Они покойны и довольны. Они еще спят.
— Продолжаешь с ними уроки языка?
— Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.

— У них нет еще желания покинуть мой дом?
— Нет, нет, о нет.

Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза Тускуба изумленно расширились. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал:

— Я не понимаю тебя.

— Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне

не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя...

Аэлита не договорила,— лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца.

— Это ужасно,— проговорила она,— это будет ужасно.— Она поднялась стремительно, но уронила руки и снова села.

Смутная тревога сильнее овладела ею. Аэлита огромными зрачками глядела на себя в зеркало. Тревога шумела в крови, бежала ознобом. «Как это плохо, напрасно».

Помимо воли встало перед ней, как сон этой ночи, лицо Сына Неба,— крупное, со снежными волосами,— взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем Земли, влагой Земли,— жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие разум.

Аэлита медленно встряхнула головой. Сердце страшно, глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле, среди множества подушек, сморщенная фигурка старичка. Свет из оконечка падал на его иссохшие руки, лежавшие поверх мохнатого одеяла. Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран и улыбнулся беззубо.

— Что скажешь, дитя мое?

— Учитель, у меня тревога,— сказала Аэлита,— ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.

— Тебя смущает Сын Неба?

— Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был неспокойен. Я чувствую — у них борьба в Высшем совете. Я боюсь, как бы Совет не принял ужасного решения. Помоги.

— Ты только что сказала, что Сын Неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.

— Нет! — Аэлита сказала это быстро, резко, взволнованно.

Старичок под взглядом ее насупился. Пожевал сморщенным ртом.

— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита, в твоих мыслях двойственность и противоречие.

— Да, я чувствую это.

— Вот лучшее доказательство неправоты, Высшая мысль — ясна, бесстрастна и непротиворечива. Я сделаю, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.

— Я буду надеяться.

— Успокойся, Аэлита, и будь внимательна... Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок — красная тьма, — это жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении...

— Учитель, он меня смущает иным.

— Каким бы возвышенным чувством он ни смущил, — в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего, — этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания, перестанет быть — вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро — катиться с горы, но подъем медленен и труден. Будь мудра.

Аэлита слушала, голова ее склонялась...

— Учитель, — вдруг сказала она, и губы ее задрожали, глаза налились тоской, — Сын Неба говорил, что на Земле они знают что-то, что выше разума; выше знания, выше мудрости. Но что это — я не поняла. От этого моя тревога. Вчера мы были на озере, взошла Красная Звезда, он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.

Старичок нахмурился, долго молчал, — только не перставая шевелились пальцы его высохшей руки.

— Хорошо, — сказал он, — пусть Сын Неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.

Зеркало погасло. Стало тихо в комнате. Аэлита взяла с колен платочек и оттерла им лицо. Потом взглянула на себя — внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл сухую лапку чудесного зверька индри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты.

Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него, — большой, добрый, встревоженный. Ей стало горячо сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька, и сказала:

— Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте.

Второй рассказ Аэлиты

— Вот что мы прочли в цветных книгах, — сказала Аэлита.

В те далекие времена на Земле центром мира был город СтаЖолотых Ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие Землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенный свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом.

Первыми основателями города СтаЖолотых Ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла погибший в волнах Тихого океана гигантский материк Гвандана. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились. Но все же в крови негров текло воспоминание великого прошлого.

Люди Земзе были огромной силы и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством: на расстоянии они могли чувствовать природу и

форму вещей, подобно тому как магнит ощущает присутствие другого магнита. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов.

Спасаясь от ядовитой мухи гох, племя Земзе вышло из лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками.

Здесь было много плодов и дичи, в горах — золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки — красивы и лишены губительных лихорадок.

Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей и навалили из камней высокую пирамиду в знак того, что это место — прочно.

На верху пирамиды они поставили столб с пучком перьев птицы клитли, покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц.

На запад от плоскогорья бродили краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врага и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по широким рекам и собирали с краснокожих дань.

Потомки Земзе украсили город круглыми каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали пре-восходные одежды из шерсти и умели записывать мысли посредством изображения предметов,— это знание они вынесли в глубинах памяти, как древнее воспоминание исчезнувшей цивилизации.

Прошли столетия. И вот на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в степи, к охотникам и кочевникам. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город.

Потомки Земзе употребили для защиты все знания: поражали врагов огнем, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бumerангами. Но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру объявил себя вождем мира. Он

велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стали служить победителям.

Красные усвоили знания, обычай и искусства Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администра-торов и завоевателей. Таинственная способность чувствовать природу вещей передавалась поколениям.

Военачальники династии Уру расширили владения, на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и Конго, по скалистому побережью Средиземного моря, плескавшегося там, где ныне пустыня Сахара, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Земля Земзе называлась тогда — Хамаган.

Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны сто ворот, обложенных золотыми листами. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города СтаЗолотых Ворот оказались в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя «сыны Аама».

Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм Спящей Головы Негра и стали привлекать к себе людей, — исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших.

Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена и подняли одновременно на окраинах Земли и в самом городе восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыны Аама овладели властью.

С этим древним временем совпал первый толчок Земли. Во многих местах, среди гор, вырвалось пламя, и пеплом заволокло небо. Большие пространства на юге атлантического материка опустились в океан.

На севере поднялись с морского дна скалистые острова и соединились с сушей: так образовались очертания европейской равнины.

Всю силу власти сыны Аама направляли на создание культуры среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру и отпавших. Но сыны Аама не любили войны. Они снаряжали корабли, украшенные Головой Спящего Негра, нагружали их пряностями, тканями, золотом и слоновой костью. Посвященные в культа, под видом купцов и знатоков, проникали на кораблях в дальние страны. Они торговали и лечили заговорами и заклинаниями больных и увечных. Для охраны товаров они строили в каждой стране большой, по форме пирамиды, дом, куда переносили Голову Спящего. Так утверждался культа. Если народ возмущался против пришельцев, с корабля сходил отряд краснокожих, закованных в бронзу, со щитами, украшенными перьями, в высоких шлемах, наводящих ужас.

Так снова расширялись и укреплялись владения древней земли Земзе. Теперь она называлась Атлантида. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй великий город — Птилигуга. Торговые корабли Атлантов плавали на восток, до Индии, где еще властвовала черная раса. На восточном побережье Азии они впервые увидели гигантов с желтыми и плоскими лицами. Эти люди бросали камни в их корабли.

Культа Спящей Головы был открыт для всех, — это было главным орудием силы и власти, но смысл, внутреннее содержание культа хранились в величайшей тайне. Атланты выращивали зерно мудрости Земзе и были еще в самом начале того пути, который привел к гибели всю расу.

Они говорили так:

«Истинный мир — невидим, неосозаем, неслышим, не имеет вкуса и запаха. Истинный мир есть движение разума. Начальная и конечная цель этого движения непостижима. Разум есть материя, более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая материя, разум впадает в некоторый сон, то есть становится более замедленным, что называется — воплощением разума в вещества. На степени глубины сна разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в

землю. Из этих четырех стихий образуется видимый мир. Вещь есть временное сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобно круглой молнии, в которую уплотняется грозовой воздух.

В кристалле разум находится в совершенном покое. В междузвездном пространстве разум — в совершенном движении. Человек есть мост между этими двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его — солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краями, простирающимися во вселенную.

Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движение. Он управляет ими силой, исходящей из его разума, подобно тому как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда».

Так говорили Атланты. Простой народ не понимал их учения. Иные поклонялись животным, иные — теням умерших, иные — идолам, иные — ночным шорохам, грому и молнии или яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со множеством этих суетерий.

Тогда жрецы — высшая каста Атлантов — поняли, что нужно внести ясный и понятный, единый для всех культ. Они стали строить огромные, украшенные золотом храмы и посвящать их солнцу — отцу и владыке жизни, гневному и животворному, умирающему и вновь рождающемуся.

Культ солнца вскоре охватил всю Землю. Верующими было пролито много человеческой крови. На крайнем западе, среди красных, солнце приняло образ змея, покрытого перьями. На крайнем востоке солнце — владыка теней умерших — приняло образ человека с птичьей головой.

В центре мира, в городе СтаЖолотых Ворот, была построена уступчатая пирамида, столь высокая, что облака дымились на вершине ее, — туда перенесли Голову Слящего. У подножья пирамиды, на площади, был поставлен золотой крылатый бык с человеческим лицом, со львиными лапами. Под ним неугасимо горел огонь.

В дни равноденствий, в присутствии народа, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обнаженных женщин, верховный жрец, Сын Солнца, великий

правитель, умерщвлял красивейшего из юношей города и сжигал его во чреве быка.

Сын Солнца был неограниченный владыка города и страны. Он строил плотины и проводил орошения. Раздавал из магазинов одежду и питание, назначал, кому сколько нужно земли и скота. Многочисленные чиновники были исполнителями его повелений. Никто не мог говорить: «Это мое», потому что все принадлежало солнцу. Труд был священен. Леность наказывалась смертью. Весною Сын Солнца первый выходил в поле и на быках пропахивал борозду, сеял зерна маиса.

Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли Атлантов, с пурпуровыми парусами, украшенными изображениями змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир. Люди забывали, как держать в руке меч.

И вот над Атлантидой нависла туча с востока.

На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее, с раскосыми глазами, сильное племя Учкуров. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась Су Хутам Лу, что значило «говорящая с луной».

Су Хутам Лу сказала Учкурам:

«Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе, там текут реки из кумыса, там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши кони, и вы еще не зачерпывали шлемом воды из тех рек».

Учкуры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные кочевые племена желтолицых, покорили их и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Су Хутам Лу».

Поклоняющиеся звездам кочевники были мечтательны и бесстрашны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница Учкуров, нападая, сражаясь и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разились по восточной европейской равнине.

Там многие остались на берегах озер. Сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережье

Средиземного моря они разрушили первую колонию Атлантов и от побежденных узнали, где лежит страна солнца. Здесь Су Хутам Лу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее, вдоль моря. Так они дошли до края Европы и вот, с высоты гор, увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда Учкуры впервые спустились с плоскогорья, минуло сто лет.

Кочевники стали рубить леса и вязать плоты. На плотах они переправлялись через соленую теплую реку. Ступив на заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола: звон был так приятен, что желтолицые не стали разрушать города, не истребили жителей, не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солнце.

Наконец кочевникам преградило путь войско красивокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница Учкуров истребила их. С этого дня желтолицые услышали запах крови Атлантов и не были более милостивы.

Из города Стака Золотых Ворот послали гонцов на запад к красным, на юг к неграм, на восток к племенам Аама, на север к циклопам. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах храмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались исступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, расточали сокровища.

Жрецы и философы готовились к великому испытанию, уносили в глубь гор, в пещеры, зарывали в землю книги Великого Знания.

Началась война. Участь ее была предрешена: Атланты могли только защищать пресытившее их богатство, у кочевников была первобытная жадность и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась. Наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город Стака Золотых Ворот был взят приступом и стены его разрушены. Сын Солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах

храмов. Немногие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Цивилизация погибла.

Среди разрушенных дворцов великого города на площадях, поросших травой, бродили овцы, и желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля голубая и небо — золотое.

Кочевники спрашивали своих вождей: «Куда нам еще идти?» Вожди говорили им: «Мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно». Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше на запад, в страну Перистого Змея, но там их истребил повелитель Птицы-лигуга. Иные из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили негры, стада слонов и болотные лихорадки.

Учкуры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов и посвященных и сказал им: «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мира.

Таково было начало третьей, самой высокой волны цивилизации Атлантов. В кровь многочисленных племен — черных, красных, оливковых и белых — влилась мечтательная, бродящая, как хмель, кровь азиатскихnomадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Су Хутам Лу.

Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песни и предания. Появилось новое племя сильных сложением, черноволосых, желто-смуглых людей. Учкуры, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они любили науки, искусства и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями, выложили золотом двадцать один уступ гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонны.

В долгих войнах снова были покорены отпавшие страны и города. На севере воевали с циклопами — уцелевшими от смешения, одичавшими потомками пле-

мени Земзе. Великий завоеватель Рама дошел до Индии. Он соединил младенческие племена арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды — от страны Перистого Змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда некогда желтолицые великаны бросали камни в корабли.

Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие «семь папирусов Спящего». С этого открытия начинает быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама, — бессознательно творческой силы, — то, чего не было у сынов племени Земзе, — ясного и острого разума, — в изобилии текло в тревожной и страстной крови Учкуров.

Основа нового знания была такова:

«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель, — так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знаний. Сила устремленного знания безгранична».

Наука знания разделялась на две части: подготовительную — развитие тела, воли и ума, и основную — познавание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой.

Полное овладение знанием, расцвет небывалой еще на Земле и до сих пор не повторенной культуры продолжались столетие, между четыреста пятидесятым и триста пятидесятым годами до Потопа, то есть до гибели Атлантиды.

На Земле был всеобщий мир. Силы Земли, вызванные к жизни знанием, обильно и роскошно служили людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легок. Народ вспоминал старые обычай и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван золотым.

В то время на восточном рубеже Земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии, — символ тайны спящего разума. Были построены

семь чудес света: лабиринт, колоес в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемутов на острове Тихого океана.

В черные племена, до этого времени теснимые в тропические болота, проник свет знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройку гигантских городов в Центральной Африке.

Зерно мудрости Земзе дало полное и пышное цветение. Но вот мудрейшие из посвященных в знание стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первоначальный грех. Дальнейшее развитие знания должно привести к гибели: человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост.

Первородное зло было в том, что бытие — жизнь Земли и существ — постигалось как нечто, выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Разум был единственной реальностью, мир — его представлением, его сновидением. Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, все остальное — весь мир — лишь плод его воображения. Дальнейшее было неизбежно: борьба за единственную личность, борьба всех против всех, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна, — презрение и отвращение к бытию, как к злому сновидению.

Таково было начальное зло мудрости Земзе.

Знание раскололось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они называли себе черными, так как знание шло от черных.

Другие, признававшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении разума от природности, стали искать противодействия злу.

Они говорили: «Солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли: вот основной закон жизни». Таково же движение мирового разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех — одиночество разума — может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата — пол. Падение разума совершается силою полового влечения, или Эроса.

Утверждавшие так называли себя белыми, потому что носили полотняную тиару — знак Эроса. Они создали весенний праздник и мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма солнца. Девственный юноша представлял разум, женщина — врата смертной плоти, змей — Эроса. Из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелица.

Раскол между двумя путями знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие,— найдена возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила,— гремучая, огненно-холодная материя,— освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводящие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам.

Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие горные пастбища, где переселенцы могли жить, как первобытные существа.

Опасения белых подтверждалась. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более разнуданную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которой овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными.

И вот настали последние дни. Начались они с большого бедствия: центральная область города Стад Золотых Ворот была потрясена подземным толчком, много земли опустилось на дно океана, морские волны Атлантики отделили навсегда страну Перистого Змея.

Черные обвиняли белых, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился, черные устроили ночное избиение в городе,— более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью, остальные бежали за пределы Атлантиды.

Властью в городе СтаЖолотых Ворот овладели богатейшие из граждан Черного ордена, называвшиеся Магацитлами, что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума».

Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей Земле праздники и игрища, раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу, распахнули двери храмов для всех жаждущих противоестественных наслаждений, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда.

Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, исступленного вином, плясками, едой, женщинами,— появились Магацитлы. Они были в высоких шлемах с колючим гребнем, в панцирных поясах, без щитов. Правой рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным, разрушающим пламенем, левой рукой погружали меч в пьяных и безумных.

Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо.

Наутро кровавый тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума.

Улетело уже много тысяч аппаратов. Тогда раздался четвертый, еще более сильный толчок земли. С севера поднялась из пепельной мглы океанская волна и пошла по земле, уничтожая все живое.

Началась буря, молнии падали на землю, в жилища. Хлынул ливень, летели осколки вулканических камней.

За оплотом стен великого города с вершины уступчатой, обложенной золотом пирамиды Магацитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды, из дыма и пепла в звездное пространство. Три подряд толчка раскололи землю Атлантиды. Город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.

Гусев наблюдает город

Иха совсем одурела. О чем бы ни просил ее Гусев, тотчас исполняла, глядела на него матовыми глазами. И смешно и жалко. Гусев обращался с нею строго, но справедливо. Когда Ихочка совсем изнемогала от переполнения чувствами, он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за ухом, рассказывал всякие смешные истории. Она одурело слушала.

У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке: ни оборониться в случае чего, ни убежать. Опасность грозила им серьезная,— в этом Гусев не сомневался. Разговоры с Лосем ни к чему не вели. Лось только морщился, весь свет ему заслонил подол Тускубовой дочки.

«Суэтливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют,— не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде — чего безопаснее?»

Гусев велел Ихочкине унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо быстролетной, двухкрылой лодкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой в присутствии электрической искры. Электрическую энергию аппарат получал во время полета из воздуха, так как Марс был покрыт электричеством высокого напряжения,— его посыпали станции на полюсах. (Об этом рассказывала Аэлита.)

Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок не трудно было сорвать рукой.

Затем он решил взять под контроль город Соацеру. Иха научила его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран в доме Тускуба можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым.

Гусев обследовал весь город: площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале.

Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими

глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно
двигавшиеся станки, машины, сутулые фигуры, точ-
ные движения работы,— унылая, беспросветная му-
равьиная жизнь.

Появлялись прямые, однообразные улицы рабочих
кварталов, те же унылые фигуры брели по ним, опу-
стив головы. Тысячелетней скучой веяло от этих кир-
пичных, чисто подметенных, один как один, коридоров.
Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись.

Появлялись центральные площади: уступчатые до-
ма, ползучая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем
стекла, нарядные женщины; посреди улицы — столики,
узкие вазы, полные цветов; двигающаяся водоворота-
ми нарядная толпа, черные халаты мужчин, фасады
домов — все это отражалось в паркетной зеленоватой
мостовой. Низко проносились золотые лодки, сколь-
зили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые ли-
ца, вились пестрые легкие шарфы..

В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял
во внимание. Как человек с большим опытом — почув-
ствовал носом, что, кроме этих двух сторон, здесь есть
еще и третья — подпольная. Действительно, по бога-
тым улицам города, в парках — повсюду шаталось
большое количество неряшливо одетых, испитых мо-
лодых марсиан. Шаталось без дела, заложив руки в
карманы, — поглядывали. Гусев думал: «Эге, эти шту-
ки мы тоже видали».

Ихонка все ему подробно объясняла. На одно толь-
ко не соглашалась — соединить экран с Домом Выс-
шего совета инженеров.

В ужасе тряслась рыжими волосами, складывала ру-
ки:

— Не просите меня, Сын Неба, лучше убейте ме-
ня, дорогой Сын Неба.

Однажды, на четырнадцатый день, утром, Гусев,
как обычно, сел в кресло, положил на колени цифро-
вую доску, дернул за шнур.

В зеркальной стене появилась странная картина: на
центральной площади — озабоченные, шепчущиеся
кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пе-
стрые зонтики. Появился отряд солдат, — шли тре-
угольником, как страшные куклы, с каменными лица-
ми. Далее — на торговой улице — бегущая толпа,
свалка и какой-то марсианин, вылетевший из драки

винтом на машинах-крыльях. В парке — те же встревоженные кучки шептунов. На одной из фабрик — гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица.

В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс Ихонку за плечи: «В чем дело?» Она молчала, глядела матовыми влюбленными глазами.

Тускуб

Город был охвачен тревогой. Бормотали, мигали зеркальные телефоны. На улицах, на площадях, в парках шептались кучки марсиан. Ждали событий, поглядывали на небо. Говорили, что где-то горят склады сущеного кактуса. В полдень в городе открыли водопроводные краны, и вода иссякла в них, но ненадолго... Многие слышали на юго-западе отдаленный взрыв. В домах заклеивали стекла бумажками — крест-накрест.

Тревога шла из центра по городу, из Дома Высшего совета инженеров.

Говорили о пошатнувшейся власти Тускуба, о предстоящих переменах.

Тревожное возбуждение прорезывалось, как искрой, слухами:

«Ночью погаснет свет»;

«Остановят полярные станции».

«Исчезнет магнитное поле».

«В подвалах Дома Высшего совета арестованы какие-то личности».

На окраинах города, на фабриках, в рабочих поселках, в общественных магазинах слухи эти воспринимались по-иному. О причине их возникновения здесь, видимо, знали больше. С тревожным злорадством говорили, что будто гигантский цирк, номер одиннадцатый, взорван подземными рабочими, что агенты правительства ищут повсюду склады оружия, что Тускуб стягивает войска в Соацеру.

К полудню почти повсюду прекратилась работа. Собирались большие толпы, ожидали событий, поглядывали на неизвестно откуда появившихся многозна-

чительных молодых, неряшливо одетых марсиан с заложенными в карманы руками.

В середине дня над городом пролетели правительственные лодки, и дождь белых афишек посыпался с неба на улицы.

Правительство предостерегало население от злостных слухов,— их распускали враги народа. Говорилось, что власть никогда еще не была так сильна и преисполнена решимости.

Город затих ненадолго, и снова поползли слухи — один страшнее другого. Достоверно знали только одно: сегодня вечером в Доме Высшего совета инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Соацеры — инженером Гором.

К вечеру толпы народа заполнили огромную площадь перед Домом Высшего совета. Солдаты охраняли лестницу, входы и крышу. Холодный ветер нагнал туман, в мокрых облаках раскачивались фонари красноватыми расплывающимися сияниями. Неясной пирамидой уходили во мглу мрачные стены дома. Все окна его были освещены.

Под тяжелыми сводами, в круглой зале, на скамьях амфитеатра сидели члены Высшего совета. Лица всех были внимательны и насторожены. В стене, высоко над полом, проходили быстро одна за другой в туманном зеркале картины города — внутренность фабрик, перекрестки с перебегающими в тумане фигурами, очертания водяных цирков, электромагнитных башен, однообразные пустынные здания складов, охраняемые солдатами. Экран непрерывно соединялся со всеми контрольными зеркалами в городе. Вот появилась площадь перед Домом Высшего совета инженеров,— океан голов, застилаемых клочьями тумана, широкие сияния фонарей. Своды зала наполнились зловещим ропотом толпы.

Тонкий свист отвлек внимание присутствующих. Экран погас. Перед амфитеатром, на возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел Тускуб. Он был бледен, спокоен и мрачен.

— В городе волнение,— сказал Тускуб,— город возбужден слухом о том, что сегодня *мне* здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Такое положение вещей я считаю болезненным и зло-

вещим. Необходимо раз пясеогда уничтожить причину подобной возбуждаемости. Я знаю,— среди нас есть присутствующие, которые нынче же ночью разнесут по городу мои слова. Я говорю открыто: город охвачен анархией. По сведениям моих агентов, в городе и стране нет достаточных мускулов для сопротивления. Мы накануне гибели мира.

Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся.

— Сила, разрушающая мировой порядок,— анархия,— идет из города. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувства растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Дым хавры— вот душа города: дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот и надушенные возбуждающими ароматами; пестрые огоньки, перебегающие по фасадам публичных домов; летающие над улицами лодки-рестораны— вот город! Покой души сгорает в пепел. Желание таких опустошенных душ одно— жажды... Жажды опьянения... Пресыщенные души опьяняют только кровь.

Тускуб сказал это, пронзив перед собой пальцем пространство... Зал сдержанно загудел. Он продолжал:

— Город готовит анархическую личность. Ее воля, ее пафос— разрушение. Думают, что анархия— свобода, нет,— анархия жаждет только анархии. Долг государства— бороться с этими разрушителями,— таков закон! Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на войну с анархией. Мы объявляем анархии беспощадную войну. Меры охраны— лишь временное средство: неизбежно должен настать час, когда полиция откроет свое уязвимое место. В то время как мы вдвое увеличиваем число агентов полиции,— анархисты увеличиваются в квадрате. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие, мы должны разрушить и уничтожить город.

Половина амфитеатра завыла и повскакала на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели. Тускуб взглядом восстановил тишину.

— Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен, мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну,— по ту сторону гор Лизиазиры,— покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.

— Что он говорит?..— испуганными, высокими голосами закричали слушатели.

— Почему нам нужно умирать?

— Он сошел с ума!

— Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб снова заставил утихнуть амфитеатр.

— История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий — и последний марсианин застыдающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное — мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все; теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор — тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.

Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба.

— Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто рождается и умирает в подземных фабричных городах, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от безнадежности, кто с остервенением, ища забвения, дышит дымом проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, что-

бы жить. Мы знаем опасность — вырождение Марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет Земля, люди с Земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься Сынов Неба. Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархию, ты сейчас придумал это потрясающее умы разрушение города. Тебе самому нужна кровь — напиться. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ...

Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. Тускуб тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза.

— ...Не заставишь... Не замолчу!.. — Гор захрипел. — Я знаю — ты посвящен в древнюю чертовщину... Я не боюсь твоих глаз...

Гор с трудом широкой ладонью отер пот со лба. Вдохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову на руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

— Надеяться на переселенцев с Земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикии выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнина Марса огласилась криками войны? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру — гнездо анархии и безумных надежд,—

здесь, здесь родился этот преступный план сношения с Землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которой они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам право жить, наконец, праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может, даже срок жизни, указанный мною, продолжится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в покое.

Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове...

...Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчового возвышения. Так же, протянув руки, растопырив пальцы, повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

— Хорошо. Смерть! Пусть смерть! Для вас!.. Для нас — борьба...

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз, к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра.

Лось остается один

— Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс.

— В лодку я уже все уложил: провизию, гранаты. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался,— в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой.

— Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово, я вас хочу марскомом объявить. Дело чистое.

Лось опустил голову,— так впился глазами Гусев. Спросил тихо:

— Что происходит в городе?

— Черт их разберет. На улицах народу — тучи, рев. Окна бьют.

— Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром, если будет нужно — расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?

— Ладно,— сказал Гусев,— эх, от них весь беспорядок, мухи их залягай,— на седьмое небо улети, и там баба. Тыфу! В полночь вернусь. Ихочка посмотрит, чтобы доносу на меня не было.

Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал:

«Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то не-мыслимый свет? Не радость, не печаль, не сон, не жажда, не утоление... То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним,— именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полу, под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет. И жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью. А ему снова — томление, одиночество».

Никогда еще Лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя — женщиной: проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, — ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, — как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.

Аэлита была права: он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни, — сын Земли. Но разум опередил его на тысячу лет: здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазиял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню, и там, за пределом, новые тайны.

Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза, в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой, — и птица упадет мертвая.

За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихи.

— Сын Неба, идите обедать...

Лось поспешил пошел в столовую — белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала:

— Вы будете обедать один, Сын Неба, — и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами.

Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся, — только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола — над столом — раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти.

Из глубины купола лились два голоса — струнный и духовой: сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких, замирающих звуках они расходились, — и уже низкие звуки вызывали из могилы тоскующими голосами — звали, перекликались взволнованно, и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый, старый вальс.

Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо, — у нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и

встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно.

Он подошел к Ихе.

— Могу я видеть Аэлиту?

Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо.

— Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть.

Иха проскользнула под локтем у Лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме — суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой — револьвер, сзади разрывающиеся гранаты, — подписано: «Прелестной Ихой на незабываемую память».

Лось швырнул открытку, вышел из дома и зашагал по лугу, к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал:

— Не хочет видеть — не нужно. Попасть в иной мир, — беспримерное усилие, — чтобы сидеть в углу дивана, ждать: когда же, когда, наконец, войдет женщина... Сумасшествие! Одержимость! Гусев прав, — лихорадка. «Нанюхался сладкого». Ждать, как светопреставления, нежного взгляда... К черту!..

Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его разевались. Он люто ненавидел себя.

Он добежал до озера. Вода была, как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали споны солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.

Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на Лося.

— Вы слышите, рыбы, пучеглазые, глупые рыбы, — вполголоса сказал Лось, — я спокоен, говорю в полной памяти. Меня мучит любопытство, жжет, — взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце... Она сама, странным движением, придвигнется ко мне... Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза... Видите, рыбы, — я остановил-

ся, оборвал, не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана,— конец. Завтра в город. Борьба — прекрасно. Смерть — прекрасно. Только — ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу душоты. Волшебный шарик на ее ладони — к черту, к черту, все это обман, призрак!..

Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкала льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. «Необходимо хлебнуть ледяного воздуха». Лось прищурился на смазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли.

Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье,— ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду — отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега.

В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма Лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками, плыли хищные птицы.

Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: «Вот — живи, борись, побеждай, гибни.. А сердце держи на цепи, неистовое, несчастное».

Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села. В лодке поднялся кто-то закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема глядели на Лося взволнованные глаза Аэлты. Горячо забилось сердце. Он подошел к лодке. Аэлита оттнула на лице влажный от дыхания мех. Потемневшим взором Лось глядел в ее лицо. Она сказала:

— Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе.

Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.

Чары

Лось сел позади Аэлиты. Механик — краснокожий мальчик — плавным толчком поднял крылатую лодку в небо.

Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к Лосю, щеки ее горели.

— Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища.— Зубы ее блеснули. Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке, висел у нее каменный флакончик.— Отец сказал: пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть.

Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она рассмеялась, сдернула с пальца кольцо. Лось схватил ее за руку.

— Не бросай,— он взял у нее флакончик и сунул в карман,— это твой дар, Аэлита,— темная капелька — сон, покой. Теперь и жизнь и смерть — ты.— Он наклонился к ее дыханию.— Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке.

Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к Лосю. Нет, все равно не понять. Шумящий ветер, горячая грудь Лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на плече,— казалось, кровь их бежит одним круговоротом, в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее древнее воспоминание. Нет, все равно не понять!

Прошла минута, немного больше. Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Механик обернулся: у Аэлиты и Сына Неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света.

Мальчик-механик уткнул в воротник острый нос и прищелся беззвучно смеясь. Положил лодку на

крыло и, разрезая воздух крутым падением, спустился у дома.

Аэлита очнулась, стала расстегивать щубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней согнувшись. Аэлита сказала мальчику.

— Приготовь закрытую лодку.

Она не заметила ни Ихочкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом лица управляющего,— улыбаясь, рассеянно оборачиваясь к Лосю, она пошла впереди него в глубь дома, к себе.

В первый раз Лось увидел комнаты Аэлиты,— низкие золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике, почувствовал кружящий голову горьковатый теплый запах.

Аэлита сказала тихо:

— Сядь.

Лось сел. Она опустилась около его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь и более не двигалась.

Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал руки. У нее задрожало горло. Лось нагнулся. Она сказала:

— Тебе, быть может, скучно со мной? Прости. Я еще не умею любить. Мне смутно. Я сказала Ихе: поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один, пусть ему играет улла.

Аэлита оперлась локтями о колени Лося. Лицо ее было мечтательное.

— Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?

— Ты видишь и знаешь,— сказал Лось,— когда я не вижу тебя— схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя — тревога страшнее. Теперь мне кажется — тоска по тебе гнала меня через звезды.

Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым.

— Отец дал мне яд, но я видела — он не верит мне. Он сказал: «Я убью и тебя и его». Нам недолго жить. Но ты чувствуешь — минуты раскрываются бесконечно, блаженно.

Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза Лося,— рот его сжался упрямо.

— Хорошо,— сказал он,— я буду бороться.

Аэлита придвигнулась и зашептала:

— Ты — великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный, Сын Неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки — из железа, колени — из камня. Твой взгляд смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем.

Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышным. Лось отвел с лица ее волосы.

— Что с тобой?

Тогда она стремительно обвила его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу.

— Я не умею любить,— сказала она,— я никогда не знала этого... Пожалей меня, не гнушайся мною. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала: «Я его видела в детстве, это родной великан». Мне хотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь — мрачно, безнадежно, смерть, смерть. Солнце скучно греет. Льды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают Туму... Земля, Земля... милый великан, унеси меня на Землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов... Я не хочу умирать...

Аэлита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она Лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах.

Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла. Ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великанов из сказки, она глядела на Сына Неба.

Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась внимательно глядящая виноградно-зеленая голова Тускуба.

— Ты здесь? — спросил он.

Аэлита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану.

— Я здесь, отец.

— Сыны Неба еще живы?

— Нет, отец,— я дала им яд, они убиты.

Аэлита говорила холодно, резко. Стояла спиной к Лосю, заслоняя экран.

— Что тебе еще нужно от меня, отец?

Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свирепый голос Тускуба проревел:

— Ты лжешь! Сын Неба в городе. Он во главе восстания!

Аэлита покачнулась. Голова отца исчезла.

Древняя песня

Аэлита, Ихощка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизиазиры.

Не переставая работал приемник электромагнитных волн — мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась.

Было трудно разобраться в отчаянных телефоно-граммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружящихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира.

Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно:

«...Товарищи, не слушайте шептунов... не надо нам никаких уступок... к оружию, товарищи, настал последний час... вся власть сов... сов... сов...»

Аэлита обернулась к Ихощке.

— Твой друг отважен и дерзок, он истинный Сын Неба, не бойся за него.

Ихощка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора.

— Взгляни,— сказала она Лосю,— за нами летят ихи.

Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки, в ослепительном свету, летели на

перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев Лося, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову. Аэлита рассмеялась.

Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью.

Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах, истершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на Лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом.

— Здесь спускался Магаситл, неся трость с привязанной пряжей, — сказала Аэлита. — Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.

На середине пропасти лестница ушла в глубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая по камням плечами, нагибаясь, Лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая».

Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однобразно ладали капли с неразличимых в глубине сводов.

Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее» — и появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, по он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке.

Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазиры.





По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх в пещерный город. Посреди террасы лежал до половины ушедший в почву, покрытый мхами Священный Порог. Это был большой, из массивного золота саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху поконилось изображение спящего марсанина,— одна рука его подложена под голову, другая прижимала к груди уллу. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру.

Аэлита опустилась на колени перед Порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась, ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом.

С левой стороны, в скале, среди полуустерпых надписей виднелась треугольная золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя Порога— темная пещерка с каменными скамьями, очагом и ложем, высеченным в граните. Сюда внесли корзины. Иха покрыла циновкой пол, постлала постель для Аэлиты, налила масла в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел сторожить крылатую лодку.

Аэлита и Лось сидели на краю бездны. Солнце уходило за острые вершины. Резкие длишные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико было в этом краю, где никогда спасались от людей древние Аолы.

— Когда-то горы были покрыты растительностью,— сказала Аэлита,— здесь паслись стада хашей и в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих, долгих тысячелетий. Быть может, мы — последние: уйдем, и Тума опустеет.

Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму.

— Но сердце мое говорит иное.— Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, сухие веточки. Собрав их в край плаща, она вернулась к Лосю, сложила костер, принесла из

пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь.

Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к приступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом:

Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей,
Сложи их прилежно,
Ударь камнем о камень,— женщина, водительница двух душ.
Высеки искру,— и запылает костер.
Сядь у огня, прятань руки к пламени.
Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков.
Сквозь струи уходящего к звездам дыма
Глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева, в дно души.
Его глаза ярче звезд, горячей огня, смелее фосфорических глаз Чая.
Знай,— потухшим углем станет солнце, укатятся
Звезды с неба, погаснет злой Талцетл над миром,—
Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия, протянув к нему руки,
И слушаешь голоса ждущих пробуждения к жизни,
Голоса во тьме твоего чрева.

Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли,— они озаряли красноватым жаром ее лицо.

— По древнему обычью,— сказала она сурово,— женщина, спевшая мужчине песню уллы, становится его женой.

Лось летит на помощь Гусеву

В полночь Лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны,— значит, Гусев еще не вернулся. Покатая стена освещена звездами, голубоватые искры их поблескивали в черноте стекол. Из-за зубцов крыши торчала острый углом странная тень. Лось вглядывался,— что бы это могло быть?

Мальчик-механик наклонился к нему и шепнул опасливо:

— Не ходите туда.

Лось вытащил из кобуры маузер. Втянул поздрями холодноватый воздух. В памяти встал огонь костра над иропастью, запах горящих трав. Потемнев-

ние, горячие глаза Аэлиты... «Вернешься? — спросила она, стоя над огнем.— Исполни долг, борись, побди, но не забывай,— все это лишь сон, все тени... Здесь, у огня,— ты жив, ты не умрешь. Не забывай, вернись...» Она подошла близко. Ее глаза у самых его глаз раскрывались в бездонную ночь, полную звездной пыли: «Вернись, вернись ко мне, Сын Неба...»

Воспоминание обожгло и погасло,— длилось всего секунду, покуда Лось расстегивал кобуру револьвера. Вглядываясь в странную тень по ту сторону дома, над крышей, Лось чувствовал, как мышцы его напрягаются, горячая кровь сотрясает сердце,— борьба, борьба.

Легко, прыжками, он побежал к дому. Прислушался, скользнул вдоль боковой стены и заглянул за угол. Близ входа в дом лежал, завалившись набок, разбитый корабль. Одно его крыло поднималось над крышей к звездам... Лось различил несколько валявшихся на траве точно мешков,— это были трупы. В доме — темнота, тишина.

«Неужели — Гусев?» Лось подбежал к убитым. «Нет, марсиане». Один лежал вниз головой на ступенях. Еще один висел среди обломков корабля. Видимо, были убиты выстрелами из дома.

Лось взбежал на лестницу. Дверь была приоткрыта. Он вошел в дом.

— Алексей Иванович,— позвал Лось.

Было тихо. Он включил освещение,— вспыхнули огнями весь дом. Подумал: «Неосторожно»,— и сейчас же забыл об этом. Проходя под арками, поскользнулся в липкую лужицу.

— Алексей Иванович! — закричал Лось.

Прислушался — тишина. Тогда он прошел в узкое зальце с туманным зеркалом, сел в кресло, захватил ногтями подбородок. «Ждать его здесь? Лететь на помощь? Но куда? Чей это разбитый корабль? Мертвые не похожи на солдат,— скорее всего — рабочие. Кто здесь дрался? Гусев? Люди Тускуба? Да, медлить нельзя».

Он взял цифровую доску и включил зеркало: «Площадь Дома Высшего совета инженеров». Дернул шнур, и сейчас же грохотом отшвырнуло его от зеркала: там, в красноватом сиянии фонарей, лете-

ли клубы дыма, чиркали огненные вспышки, искры. Вот влетела, раскинув руки, в зеркало чья-то фигура с залитыми кровью глазами.

Лось дернулся за шнур. Отвернулся от экрана.

«Неужели он не даст знать, где искать его в этой каше?»

Лось заложил руки за спину и ходил, ходил по низкому зальцу. Вздрогнул, остановился, живо обернулся, щелкнул предохранителем маузера. Из-за двери, у самого пола, высовывалась голова — красные вихры, красное морщинистое лицо.

Лось подскочил к двери. По ту ее сторону лежал у стены в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.

Облизнув губы, марсианин проговорил едва слышно:

— Спеши, мы погибаем, Сын Неба, спаси нас... Разожми мне руку...

Лось разжал коченеющий кулак умирающего, отодрал от ладони записочку. С трудом разобрал:

«Посылаю за вами военный корабль и семь человек рабочих, — ребята надежные. Я осаждаю Дом Высшего совета инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня Гусев».

Лось нагнулся к раненому — спросить, что здесь произошло. Но марсианин только хрюпал, дергаясь в кресле.

Тогда Лось взял его голову в ладони. Марсианин перестал хрюпать. Глаза его выкатились. Ужас, блаженство осветило их: «Спаси...» Глаза подернулись пылью, оскалился рот.

Лось застегнул куртку, обмотал шею шарфом. Пошел к выходу. Но едва отворил дверь, впереди, из-за остова корабля, метнулись синеватые искорки; раздался слабый режущий треск. Пулей сорвало шлем с головы Лося.

Стиснув зубы, Лось кинулся вниз по лестнице, подскочил к кораблю, навалился плечом, — мускулы хрустнули, и он опрокинул остов корабля на тех, кто таился позади него в засаде.

Раздался треск ломающегося металла, птичьи крики марсиан; огромное крыло мотнулось по воздуху и пришепетнуло уползавших из-под обломков,

Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Грохот маузера был ужасен. Ближайший марсианин ткнулся в траву. Другой бросил ружье, присел, закрыл лицо руками.

Лось взял его за воротник серебристой куртки и поднял, как щенка. Это был солдат. Лось спросил:

— Ты послан Тускубом?

— Да, Сын Неба.

— Я тебя убью.

— Хорошо, Сын Неба.

— На чем вы прилетели? Где корабль?

Вися перед страшным лицом Сына Неба, марсианин расширенными от ужаса глазами указал на деревья: в тени их стояла небольшая военная лодка.

— Ты видел в городе Сына Неба? Ты можешь его найти?

— Да.

— Вези.

Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Взвыли винты. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные, дикие звезды.

Деятельность Гусева за истекший день

В десять часов утра Гусев вылетел из Тускубовой усадьбы в Соацеру, имея на борту лодки авиационную карту, оружие, довольствие и шесть штук ручных гранат,— их он, тайно от Лося, захватил еще в Петрограде.

В полдень Гусев увидел внизу Соацеру. Центральные улицы были пустынны. У Дома Совета инженеров, на огромной звездообразной площади, стояли военные корабли и войска — тремя концентрическими полукругами.

Гусев стал снижаться. И вот — его, очевидно, заметили. С площади снялся шестикрылый сверкающий корабль,— трепеща в лучах солнца, взвился отвесно. Вдоль бортов его стояли серебристые фигурки. Гусев описал над кораблем круг. Осторожно вытащил из мешка гранату.

На корабле завертелись цветные колеса, зашевелились проволочные волосы на мачте.

Гусев перегнулся из лодки и погрозил кулаком. На корабле раздался слабый крик. Серебристые фигурки подняли коротенькие ружья. Вылетели желтенькие дымки. Запели пули. Отлетел кусок борта у лодки.

Гусев выругался веселым матом. Поднял рули. Кинулся вниз на корабль. Пролетая вихрем над ним, бросил гранату. Он услышал, как позади громыхнул оглушительный взрыв. Выправил рули и обернулся. Корабль неряшливо перевертывался в воздухе, дымя и разваливаясь, и рухнул на крыши.

С этого тогда все началось.

Пролетая над городом, Гусев узнавал виденные им в зеркале площади, правительственные здания, арсенал, рабочие кварталы. У длинной фабричной стены волновалась, точно потревоженный муравейник, многотысячная толпа марсиан. Гусев снизился. Толпа шарахнулась в стороны. Он сел на очищенное место, скаля зубы.

Его узнали. Поднялись тысячи рук, заревели глотки: «Магацитл, Магацитл!» Толпа робко стала придвигаться. Он видел дрожащие лица, умоляющие глаза, красные, как редиска, облезлые черепа. Это все были рабочие, чернь, беднота.

Гусев вылез из лодки, вскинул на плечо мешок, широко провел рукой по воздуху.

— С приветом, товарищи! — Стало тихо, как во сне. Гусев казался великанином среди щуплого народа. — Разговаривать здесь собрались, товарищи, или воевать? Если разговаривать, мне некогда, прощайте.

По толпе пролетел тяжкий вздох. Отчаянными голосами крикнули несколько марсиан, и толпа подхватила их крики:

— Спаси, спаси, спаси нас, Сын Неба!

— Значит, воевать хотите? — сказал Гусев и рявкнул хриплой глоткой: — Бой начался. Сейчас на меня напал военный корабль. Я сбил его к чертям. К оружью, за мной! — Он схватил воздух, точно узечку.

Сквозь толпу протискался Гор (Гусев его сразу

узпал). Гор был серый от волнения, губы прыгали. Вцепился пальцами в грудь Гусеву.

— Что вы говорите? Куда вы нас зовете? Нас уничтожат. У нас нет оружия. Нужны иные средства борьбы...

Гусев отодрал от себя его руки.

— Главное оружие — решиться. Кто решился, у того и власть. Не для того я с Земли летел, чтобы здесь разговаривать... Для того я с Земли летел, чтобы научить вас решиться. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно, — за мной. Где у вас арсенал? За оружием! Все за мной, в арсенал!..

— Ай-яй! — завизжали марсиане.

Началась давка. Гор отчаянно протянул руки к толпе.

Так началось восстание. Вождь нашелся. Головы пошли кругом. Невозможное показалось возможным. Гор, медленно и научно подготавливший восстание и даже после вчерашнего медливший и не решавшийся, вдруг точно проснулся. Он произнес двенадцать бешеных речей, переданных в рабочие квартали туманными зеркалами. Сорок тысяч марсиан стали подтягиваться к арсеналу. Гусев разбил наступавших на небольшие кучки, и они перебегали под прикрытием домов, памятников, деревьев. Он распорядился поставить у всех контрольных экранов, по которым правительство следило за движением в городе, женщин и детей и велел им вяло ругать Тоскуба. Эта азиатская хитрость, усыпила на некоторое время бдительность правительства.

Гусев боялся воздушной атаки военных кораблей. Чтобы хоть ненадолго отвлечь внимание, он послал пять тысяч безоружных марсиан в центр города — кричать, просить теплой одежды, хлеба, хавры. Он сказал им:

— Никто из вас живым оттуда не вернется. Это вы помните. Идите.

Пять тысяч марсиан одной глоткой закричали: «Ай-яй!» — развернули огромные зонтики с надписями и пошли умирать, запели унылым воем старую запретную песню:

Под стеклянными крышами,
Под железными арками,
В каменном горшке
Дымится хавра.

Нам весело, весело.
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!
Ай-яй! Мы не вернемся
В шахты, в каменоломни,
Мы не вернемся
В страшные, мертвые коридоры,
К машинам, к машинам.
Жить мы хотим. Ай-яй! Жить!
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!

Крутя огромные зонтики, завывая, они скрылись в узких улицах.

Арсенал, низкое квадратное здание в старой части города, охранялся небольшой воинской частью. Солдаты стояли полукругом на площади перед окованными бронзой воротами, прикрывая две странные машины из проволочных спиралей, дисков и шаров (такую штуку Гусев видел в заброшенном доме). По множеству кривых переулочков наступающие пошли и обложили арсенал: стены его были отвесны и прочны.

Выглядывая из-за углов, перебегая за деревьями, Гусев осмотрел позицию,— ясно: арсенал надо было брать в лоб, в ворота. Гусев велел выворотить в одном из подъездов бронзовую дверь и обмотать ее веревками. Наступающим приказал кидаться лавой, визжать — ай-яй! — как можно страшнее.

Солдаты, охранявшие ворота, спокойно поглядывали на суету в переулочках, лишь машины были выдвинуты вперед, и по спиралям их трещал лиловый свет. Указывая на них, марсиане жмурились и тихо свистали: «Бойся их, Сын Неба».

Времени терять нельзя было.

Гусев расставил ноги, взялся за веревки и поднял бронзовую дверь,— была тяжела, но ничего, нести можно. Так он прошел под прикрытием домовой стены до края площади, оттуда — рукой подать до ворот. Шепотом приказал своим: «Готовься». Вытер рукавом лоб, подумал: «Эх, рассердиться бы сейчас». Поднял дверь, прикрыл ее.

— Даешь арсенал!.. Даешь, тудыть твою в душу, арсенал! — заорал он не своим голосом и тяжело побежал по площади к солдатам.

Булькнуло несколько выстрелов, режущими разрывами ударило в дверь. Гусев зашатался. Рассердился всерьез и побежал шибче, ругаясь скверными слова-

ми. А вокруг уже завыли, завизжали марсиане, посыпались изо всех углов, подъездов, из-за деревьев. В воздухе разорвался громовой шар. Но хлынувшие потоки наступающих смяли солдат и страшные машины.

Гусев, ругаясь, добежал до ворот и ударил в замок углом бронзовой двери. Ворота затрещали и распались. Гусев вбежал на квадратный двор, где рядами стояли крылатые корабли.

Арсенал был взят. Сорок тысяч марсиан получили оружие. Гусев соединился по зеркальному телефону с Домом Совета инженеров и потребовал выдачи Тускуба.

В ответ на это правительство послало воздушную эскадрилью атаковать арсенал... Гусев вылетел ей на встречу со всем флотом. Корабли правительства бежали. Их догнали, окружили и уничтожили над развалинами древней Соацеры. Корабли падали с неба к ногам гигантской статуи Магаситла, улыбающегося с закрытыми глазами. Свет заката мерцал на его чешуйчатом шлеме.

Небо было во власти восставших. Правительство стягивало полицейские войска к Дому Совета. На крыше его были поставлены машины, посылающие огненные ядра — круглые молнии. Часть повстанческого флота была ими сбита с неба. К ночи Гусев осадил площадь Дома Высшего совета и стал строить баррикады в улицах, разбегающихся звездою от площади. «Научу я вас революции устраивать, черти кирпичные», — говорил Гусев, показывая, как нужно выворачивать плиты из мостовой, валить деревья, срывать двери, набивать рубашки песком.

Насупротив Дома Высшего совета поставили две захваченные в арсенале машины и стали бить из них огненными ядрами по войскам. Но правительство закутало площадь электромагнитным полем.

Тогда Гусев произнес последнюю за тот день речь, очень короткую, но выразительную, влез на баррикаду и швырнул одну за другой три ручных гранаты. Сила их взрыва была ужасна: метнулись три снопа пламени, полетели в воздух камни, солдаты, куски машин, площадь закуталась пылью и едким дымом. Марсиане завыли и пошли на приступ. (Это была именно та ми-

нута, когда Лось взглянул в туманное зеркало в Тускубовой усадьбе.)

Правительство сняло магнитное поле, и с обеих сторон запрыгали над площадью, над дерущимися, затанцевали огненные мячики, лопаясь ручьями синеватого пламени. От грохота дрожали мрачные пирамидальные дома.

Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался, во главе отборного отряда, в Дом Высшего совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.

Поворот событий

Войска повстанцев заняли все важнейшие пункты города, указанные Гором. Ночь была прохладная. Марсиане мерзли на постах. Гусев распорядился зажечь костры. Это показалось неслыханным — вот уже тысячу лет в городе не зажигали огня, — о пляшущем пламени пелось лишь в древней песне.

Перед Домом Высшего совета Гусев сам зажег первый костер из обломков мебели. «Улла, улла», — тихими голосами завыли марсиане, окружив огонь. И вот костры запылали на всех площадях. Красноватый свет оживил колеблющимися тенями покатые стены домов, мерцал в стеклах.

За окнами появились голубоватые лица, — тревожно, в тоске, всматривались они в невиданные огни, в мрачные, оборванные фигуры повстанцев. Многие из домов опустели этой ночью.

Было тихо в городе. Только потрескивали костры, звенело оружие, словно возвратились на пути свои тысячелетия, снова начался томительный их полет. Даже мохнатые звезды над улицами, над кострами казались иными, — невольно сидящий у костра поднимал голову и всматривался в забытый, словно оживший, рисунок. Гусев облетал на крылатом седле расположение войск. Он падал из звездной темноты на площадь и ходил по ней, бросая гигантскую тень. Он казался истинным Сыном Неба, истуканом, сошедшим с каменного цоколя. «Магацитл, Магацитл», — в суетном ужасе шептали марсиане. Многие впервые видели его и подползали, чтобы коснуться. Иные пла-

или детскими голосами: «Теперь мы не умрем... Мы станем счастливыми... Сын Неба принес нам жизнь».

Худые тела, прикрытые пыльной, однообразной для всех одеждой, морщинистые, востроносенькие, дряблые лица, печальные глаза, веками приученные к мельканию колес, к сумраку шахт, тощие руки, неумелые в движениях радости и смелости,— руки, лица, глаза с искрами костров — тянулись к Сыну Неба.

— Не робей, не робей, ребята. Гляди веселей,— говорил им Гусев,— нет такого закону, чтобы страдать безвинно до скончания века,— не робей. Одолеем — заживем неплохо.

Поздней ночью Гусев вернулся в Дом Совета,— продрог и был голоден. В сводчатом зальце, под низкими, золотыми арками, спали на полу десятка два марсиан, увешанных оружием. Зеркальный пол был заплеван жеваной хаврой. Посреди зальца на патронных жестянках сидел Гор и писал при свете электрического фонарика. На столе валялись открытые консервы, фляжки, корки хлеба.

Гусев присел на угол стола и стал жадно есть. Вытер руки о штаны, хлебнул из фляжки, крякнул, сказал хрипло:

— Где противник? Вот что мне надо...

Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную трялку, обмотанную вокруг головы Гусева, его крепко жующее, скуластое лицо,— усы торчком, раздутые ноздри.

— Не могу добиться, куда, к дьяволу, девались правительственные войска,— продолжал Гусев,— вальяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше пятнадцати тысяч. Провалились. Попрятаться не могли,— не иголка. Если бы провалились, я бы знал. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.

— Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город,— сказал Гор.

Гусев соскочил со стола.

— Почему же вы молчите?

— Преследовать Тускуба бесполезно. Сядьте и ешьте, Сын Неба.— Гор, морщась, достал из-под одежды красноватую, как перец, пачку сухой хавры, за-

сунул ее за щеку и медленно жевал. Глаза его покрылись влагой, потемнели, морщины разошлись.— Несколько тысячелетий тому назад мы не строили больших домов, мы не могли их отапливать,— электричество было нам неизвестно. В зимние стужи население уходило под поверхность Марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водою пещер, колоннады, туннели, коридоры согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие паровые машины тех времен. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники лабиринта царицы Магр — повелительницы двух миров, владевшей некогда всем Марсом. Из-под Соацеры сеть туннелей ведет к пятистам живым городам и к более тысячи мертвым, вымершим. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба — армия, на его стороне — владельцы сельских поместий, плантаторы хавры и все те, кто тридцать лет тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и венероломен. Он парочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления... Ах, золотой век... Золотой век!..

Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра начинала действовать на него.

— Тускуб мечтает о золотом веке: открыть последнюю эпоху Марса — золотой век. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенства нет. Всеобщее счастье — бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал: жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают высшие достижения цивилизации.— На губах у Гора показалась красноватая пена.— Идти назад, к неравенству, к несправедливости! Пусть на нас кинутся, как ихи, минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, спустить в шахты... Пусть — полнота скорби. И у блаженных — полнота счастья... Вот золотой век. Скрежет зубов и

мрак. Будь прокляты отец мой и мать! Родиться на свет! Будь я проклят!

Гусев глядел на него, шибко жевал папироску:

— Ну, я вам скажу,— вы дожили здесь!..

Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестяниках, как древний-древний старик.

— Да, Сын Неба. Мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки. Сегодня я видел вас в бою. В вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страшны и беспечны. Вам, сынам Земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам, мы — стары. В нас пепел. Мы упустили свой час.

Гусев подтянул кушак.

— Ну, хорошо. Пепел! Завтра предполагаете — что делать?

— Наутро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках...

— Всё, товарищ, целый час чепуху несет,— перебил Гусев,— вот вам диспозиция на завтра: вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. Требуйте безусловного подчинения. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы, захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего....

Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол, весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения. Славшие на полу марсиане вскочили, озирались. Новая, еще более сильная дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла. Распахнулись двери. Низкий, усиливающийся раскатами грохот наполнил залу. Раздались крики на площади, выстрелы.

Марсиане, кинувшиеся к дверям, попятались, раздались. Вошел Сын Неба — Лось. Трудно было узнать его лицо: огромные глаза ввалились и были темны, странный свет шел из его глаз. Марсиане пятясь от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом.

— Город окружен,— сказал Лось громко и твердо,— небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.

Контратака

Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымавшиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево ползло на полнеба.

Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.

Гусев после короткого совещания с Лосем и Гором распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь пять этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились — блеснули огнем их крылья.

Из арсенала ответили, что приказание получено и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посыпал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался, — усы вставали дыбом.

— Да скажите вы им в арсенале (следовало неизвестное Гору выражение), — живее, живее...

Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный взрыв.

Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям, — они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма.

Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал:

— Взорван арсенал. Флот погиб.

Гусев сухо крякнул, — стал грызть усы. Лось сто-

ял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам.

— Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.

Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда. И вот, колонна за колонной, пошли марсиане в глубину улиц, на баррикады.

Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху:

— Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!

Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз: они взлетали, волна за волной, из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба.

Гор сказал:

— Бегите, Сын Неба, вы еще можете спастись.

Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади.

Лось увидел, — невдалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. Пять-шесть кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон.

Тогда Лось побежал туда через площадь, — почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мельочь.

Несколько прыжками Лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами,— ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал.

Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась, с выпущенными глазами, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в Лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат,— они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.

Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения.

— Мстислав Сергеевич,— позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плонул кровью.— Всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали косить... Кто убитый, кто попрятался. Один я остался... Ах, жалость!— Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменившего марсианина.— Ну погоди!— Схватил статую и кинулся к двери.

— Алексей Иванович, зачем?

— Не могу. Пусти.

Он появился на террасе. Из-за крыльев мимо проплывающего корабля блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск.

— Ага! — закричал Гусев.

Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь.

— Алексей Иванович, поймите — мы разбиты, все кончено... Нужно спасать Аэлиту.

— Да что вы ко мне с бабой вашей лезете...

Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой и — точно доску внутри него стали разрывать:

— Ну, и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята! «Спаси, говорят, спаси нас...» Цепляются... «Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить...» Пожить!.. Что я могу?.. Вот кровь свою пролил. Задавили. Мстислав Сергеевич, ну, ведь сукин же я сын,— не могу я этого видеть... Зубами мучителей разорву...

Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза.

— То, что произошло,— кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на Землю.

Гусев мазнул кровь и грязь по лицу.

— Идем.

Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спирально уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину.

Лось и Гусев стали спускаться по узкой лесенке,— там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая о крышу, днища кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище Сынов Неба.

Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям. Свет тускнел. И вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу. Остановилась, слабо крикнула:

— Они сейчас ворвутся. Спешите. Внизу — ход в лабиринт.

Это был Гор, раненый в голову. Облизывая губы, он сказал:

— Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на Землю, расскажите о нас. Быть может, вы на Земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни, смерть, тоска... Ах, мы упустили час... Нужно было свирепо и властно любить жизнь...

Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гора, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила.

— Идите. Я хочу умереть.

Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую

каменную плиту с ввёрнутым кольцом,— с трудом приподняли ее: из темного отверстия подул сухой ветер.

Гусев скользнул вниз первым. Лось, задвигая за собою плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат.

Они побежали по винтовой лестнице. Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.

Лабиринт царицы Magr

Лось и Гусев осторожно двигались в затхлой и душной темноте.

— Заворачиваем, Мстислав Сергеевич...

— Уэко?

— Широко, руки не достают.

— Опять какие-то колонны. Стой! Где же мы...
...Не менее трех часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Они двигались в непроницаемой тьме.

Туннели бесконечно разветвлялись, скрещивались, уходили в глубину. Слышался иногда четкий, однообразный шум падающих капель. Расширенные глаза различали неясные, сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты.

— Стой.

— Что?

— Дна нет.

Они стали прислушиваться. В лицо им тянул сладкий, сухой ветерок. Издалека, словно из глубины, доносились какие-то вздохи — вдыхание и выдыхание. С неясной тревогой они чувствовали, что перед ними пустая глубина. Гусев пошарил под ногами камень и бросил его в темноту. Спустя немного секунд донесся слабый звук падения.

— Провал.

— А что это дышит?

— Не знаю.

Они повернули и встретили стену. Шарили направо, налево, — ладони скользили по обсыпающимся трещинам, по выступам сводов. Край невидимой про-

части был совсем близко от стены,— то справа, то слева, то опять справа. Они поняли, что закружились и не найти прохода, по которому вошли на этот узкий карниз.

Они прислонились рядом, плечо к плечу, к шершавой стене. Стояли, слушая усыпительные вздохи из глубины.

— Конец, Алексей Иванович?

— Да, Мстислав Сергеевич, видимо — конец.

После молчания Лось спросил странным голосом, негромко:

— Сейчас — ничего не видите?

— Нет.

— Налево, далеко.

— Нет, нет.

Лось прошептал что-то про себя, переступил с ноги на ногу.

— Свирепо и властно любить жизнь... Только так...

— Вы про кого?

— Про них. Да и про нас.

Гусев тоже переступил, вздохнул.

— Вот она, слышите, дышит.

— Кто,— смерть?

— Черт ее знает кто? — Гусев заговорил, словно в раздумье.— Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Лежишь в поле с винтовкой, дождик, темно. О чем ни думай — все к смерти вернешься. И видишь себя, — валяешься ты осколенный, окоченелый, как обозная лошадь, сбоку дороги. Не знаю я, что будет после смерти, — этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать: падаль лошадиная или я человек? Или это все равно? Когда буду умирать, глаза закачу, зубы стисну, судорогой сломает, — кончился... в эту минуту — весь свет, все, что я моими глазами видел, — перевернется или не перевернется? Вот что страшно, валяюсь я мертвый, осколенный, — это я-то, ведь я себя с трех лет помню... а все на свете продолжает идти своим порядком? Это непонятно. С девятьсот четырнадцатого людей убиваем, и мы привыкли — что такое человек? — приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это не так просто. Я ночью, раз, на возу лежал, раненый, кверху носом, — поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я, — не все ли равно. Више

пить, есть хочется, и мне. Вше умирать трудно, и мне. Один конец. В это время гляжу — звезды высыпали, как просо, — осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды — внутри меня. Нет, я — не вошь. Нет. Как зальюсь я слезами. Что это такое? Человек — не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. А то — ядовитые газы выдумали. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой... Что мы стоим, в самом деле...

— Она здесь, — сказал Лось тем же странным голосом.

В это время издалека, по бесчисленным туннелям, пошел грохот. Задрожал карниз под ногами, дрогнула стена. Посыпались в тьму камни. Волны грохота прокатились, и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускоб сдержал свое слово. По отдаленности взрыва можно было определить, что Соацера осталась далеко на западе.

Некоторое время шуршали падающие камешки. Стало тихо, еще тише. Гусев первый заметил, что прекратились вздохи в глубине. Теперь оттуда или странные звуки — шорох, шипение, казалось — там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точно обезумел — раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.

— Карниз кругом идет. Слышите? Должен быть выход. Черт, голову расшиб! — Некоторое время он двигался молча, затем проговорил взволнованно откуда-то впереди Лося, продолжавшего неподвижно стоять у стены: — Мстислав Сергеевич... Ручка... Рубильник... Ей-ей, рубильник.

Раздался визжащий, ржавый скрип. Пыльный свет вспыхнул под низким кирпичным куполом. Ребра плоских его сводов опирались на узкое кольцо карниза, висящего над круглой, метров десять в поперечнике шахтой.

Гусев все еще держался за рукоятку рубильника. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем Гусев увидел, как Лось отнял руку и взглянул вниз, в шахту. Он низко нагнулся, взглядаваясь. Рука его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его во-

лосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса.

Гусев крикнул ему:

— Чего вы смотрите? — и только тогда взглянул в глубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. От нее шло это шипение усиливающийся зловещий шорох. Шкура поднималась, всучивалась. Вся она была покрыта большиими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами...

— Смерть! — закричал Лось.

Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты, взрыв потребовожил их, они начали подниматься, всучиваясь всей массой. Они издавали шипение и шерстяной шорох... Вот один из пауков на задранных углами лапах побежал по карнизу.

Вход на карниз был неподалеку от Лося. Гусев закричал:

— Беги! — и сильным прыжком перелетел через шахту, царапнув черепом по купольному своду, — упал на корточки около Лося, схватил его за руку и потащил в проход, в туннель. Побежали что было силы.

Редко один от другого горели под сводами туннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, на обломках колонн и статуй, на порогах узких дверей, ведущих в иные переходы. Гусев и Лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла разрушенная статуя женщины с жирным свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль, — на статуе царицы Магр, на обломках утвари.

Лось остановился, глаза его были остекленевшие, расширенные.

— Их там миллионы, — сказал он, оглянувшись, — они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс...

Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из залы туннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост, переброшенный через широкую щель, на дне ее лежали суставы гигантских машин. Далее — опять потянулись пыльные, серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги

от усталости. Лось несколько раз повторил тихим голосом:

— Пустите меня, я лягу.

Сердце его переставало биться. Ужасная тоска овладевала им,—он брел, спотыкаясь, по следам Гусева, по пыли. Капли холодного пота текли по лицу. Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился полуживой в пустынных бесконечных коридорах.

Туннель круто завернулся. Гусев вскрикнул. В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубовосинее, ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы,—столь памятная Лосю. Они вышли из лабиринта близ Тускубовой усадьбы.

Xao

— Сын Неба, Сын Неба,— позвал тоненький голос. Гусев и Лось подходили к усадьбе со стороны рощи. Из лазурных зарослей высунулось восстроенное лицо. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, лицо у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку.

Он рассказал: ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот, и появилось зарево. Он подумал, что Сыны Неба погибли, вскочил в лодку и полетел в убежище Аэлиты. Она также слышала взрыв и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику: «Вернись в усадьбу и жди Сына Неба, если тебя схватят слуги Тускуба, умри молча; если Сын Неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне».

Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем Лось и Гусев пошли к озеру, смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвились в сияющую синеву.

Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время сверху, со скал, скатилась Иха. Глядя на Гусева, взялась за ще-

ки. Слезы ручьями лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся.

Лось один спустился в пропасть к Священному Порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой, с ним, спасутся ли они, погибнут? — он не соображал: начинал думать и бросал. Главное, потрясающее будет то, что сейчас он снова увидит «рожденную из света звезд». Лишь заглядеться на худенькое голубоватое лицо, — забыть себя в волнах радости.

Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мост над пещерным озером, Лось, как в прошлый раз, увидел по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом Священный Порог.

Было зноено и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, следы ног на этом последнем прибежище любви.

Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды. Пронзительная тоска сжала сердце. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням и застыла, обернув голову.

Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.

Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали, — должно быть, она видела сон.

Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания, — она дышала, и прядь пепельных волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась.

Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая своего часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза с минуту бессмысленно глядели на Лося. Брови изумленно поднимались, Обеими руками она оперлась о подушки и села.

— Сын Неба,— сказала она нежно и тихо,— сын мой, любовь моя...

Она не прикрыла наготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались Лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели,— молчал, потому что слишком велика была радость— глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой.

— Я видела тебя во сне,— сказала Аэлита,— ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь била в него и сотрясала. Томление охватило меня. Я ждала,— когда же ты остановишься, когда кончится томление? Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления... Ты разбудил меня.— Она замолчала, брови поднялись выше.— Ты глядишь так странно. О мой великан!

Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Губы ее приоткрылись, будто она хотела защищаться, как зверек. Лось тяжело проговорил:

— Иди ко мне.

Она затрясла головой.

— Ты похож на страшного Чা.

Он сейчас же закрыл лицо рукой, пронизанный усилием воли, и будто пламя охватило его,— в нем все теперь стало огнем. Он отнял руки, Аэлита тихо спросила:

— Что?

— Не бойся.

Она придвинулась и опять прошептала:

— Я боюсь Хао. Я умру.

— Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся Хао. Сойди, любовь моя!

Он протянул к ней руки. Аэлита неслышно вздохнула, ресницы ее опустились, внимательное лицо осунулось. Вдруг так же стремительно она поднялась на постели и дунула на светильник.

Ее пальцы запутались в снежных волосах Лося...

За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни Лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался. И вот — из пропасти медленно, как чудовищная оса, поднялся военный корабль, царапая посом о скалы.

Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях, в металлических ребристых шапках.

Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной двери и ударил в нее концом трости.

Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру:

— Возьмите их.

Бегство

Военный корабль кружился некоторое время над скалами Священного Порога, затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели Лося,— он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху в луже крови.

Гусев поднял его на руки,— Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове — запекшаяся кровь. Аэлита нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном,— должно быть, Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле.

Иха завязала в узелочек то, что осталось от «рожденной из света звезд», Гусев перекинул Лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью,— этим путем возвращался некогда Магацитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов — весть мира и жизни.

Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее Лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал суроно:

— Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до Земли... Мы сюда вернемся... (Следовали три непонятных слова.)— Он влез в лодку, разобрал рули.— А вы, ребята, идите домой или еще куда. Лихом не поминайте.— Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой.— Тебя с собой не зову, Ихочка: лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за

любовь, этого мы, Сыны Неба, не забываем, так-то. Прощай.

Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего Сына Неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударила о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался,— уж не покинула ли и она печальную Туму.

— Иха, Иха,— жалобно повторял он,— хо туда ми́рра туда мурра...

Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на упывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат.

Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело Лося, покрытое бьющейся по ветру, липнущей простиней. Оно было неподвижно и казалось спящим,— в нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ.

Несчастье случилось так: Гусев, Ихонка и механик сидели тогда в пещере, около лодки,— смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы. Затем — вопль. И через минуту из пропасти поднялся, как коршун, военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело Лося,— и пошел кружить, высматривать.

Гусев плюнул через борт,— до того опаршивел ему Марс. «Только бы добраться до аппарата, влить Лосю глоток спирту». Он потрогал тело,— было оно чуть теплое: с тех пор как Гусев поднял его на площадке, в нем не было заметно окоченения. «Бог даст — отышится» — Гусев по себе знал слабое действие марсианских пуль. «Но слишком уж долго длится обморок». В тревоге он обернулся к солнцу, клонявшемуся на закат, и в это время увидел падающий с высоты корабль.

Гусев сейчас же повернулся к северу, уклоняясь от встречи. Повернулся и корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.

Свистел в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая перышки ма-

змощих крыльями, омерзительных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски, разряженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда волным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом.

Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов.

Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное, тоскливое сияние заката, а Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины засыпаемой прахом, умирающей Тумы.

Быстро настала ночь. Гусев опустился и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице Лося простию, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу,— Лось сидел ни живой, ни мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик.

— Эх, пустыня,— сказал Гусев, отходя от лодки. Ледяные звезды загорелись в необъятно высоком черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги... Мучила жажда. Находила тоска.— Эх, пустыня! — Гусев вернулся к лодке, сел к рулям. Куда лететь? Рисунок звезд был дикий и незнакомый.

Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал,— коробка со взрывчатым порошком была пуста.

— Ну, ладно,— негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади, за пояс вытащил Лося,— идем, Мстислав Сергеевич,— положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго. Дошел до холма, положил Лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую, в звездном свете, колонну наверху холма — и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови.

Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел,— в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая мрачная звезда. Она была как глаз большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот.

— Земля.— Схватил в охапку Лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат.

Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал,— и плыл впереди него близкий темный горизонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарища и снова шел, поглядывая на красноватые лучи Земли. Огромная его тень одиноко двигалась среди мирового кладбища.

Взошла острый ущербная Олла. В середине ночи взошла круглая Лихта,— свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти странные луны поплыли — одна ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиазиры.

Пустыня кончилась. Было близко к рассвету. Гусев вышел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся водянистым его мясом. Звезды гасли. В лиловом небе проступали розоватые края облаков. И вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра.

Гусев скоро понял его значение: над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда,— это марсиане разрушали аппарат.

Гусев побежал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль и рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка два марсиан колотили по клепаной его обшивке большими молотками. Видимо, работа только что началась. Гусев положил Лося на песок, вытащил из-за пояса дубину.

— Я вас, сукины дети! — не своим голосом завизжал Гусев, выскачивая из-за кактусов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из

внутренности корабля выскошили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали прыссыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело,— так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти Сыном Неба.

Гусев отвинтил люк, подтащил Лося, и оба Сына Неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

Огромное ржавое яйцо, величиною с дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма. Под страшными ударами задрожала Тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли и, как метеор, метнулось в небо, унося свирепых Магациллов на их родину.

Небытие

— Ну что, Мстислав Сергеевич,— живы? Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела над ним совсем низко. Небо было странное,— желтое, стеганое, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала пыльная звездочка.

— Который час?

— Часы-то остановились, вот горе,— ответил голос.

— Мы давно летим?

— Давно, Мстислав Сергеевич.

— А куда?

— А черт его знает,— ничего не могу разобрать, тьма да звезды... Прем в мировое пространство.

Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в пустоту памяти, но в памяти ничего не раскрылось, и он снова погрузился в непроглядный сон.

Гусев укрыл его потеплее и вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустыни. Диск

Тумы, засыпаемой песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды. Но сколько Гусев ни всматривался,— нигде не было видно красной звезды.

Гусев зевнул, щелкнул зубами,— такая одолевала его скука от пустого пространства вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло и лег на дрожащий пол рядом с Лосем.

Прошло неопределенно много времени. Гусев проснулся от голода. Лось лежал с открытыми глазами,— лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо:

— Где мы сейчас?

— Все там же, Мстислав Сергеевич,— в пространстве.

— Алексей Иванович, мы были на Марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибло.

— Да, у меня что-то случилось... вспоминаю, и воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять, что было на самом деле,— все как будто сон. Дайте пить...

Лось закрыл глаза и немного погодя спросил дрожавшим голосом:

— Она — тоже сон?

— Кто?

Лось не ответил, опустил голову, закрыл глаза.

Гусев поглядел через все глазки в небо,— тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, писущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте.

Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев спал, скорчившись, в оцепенелой дремоте. Лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание.

Страшный вопль разодрал уши. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал Лось,— стоял среди раскиданных одеял, марлевый бинт сполз ему на лицо.

— Она жива!

Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотя в нее, царапая ногтями.

— Она жива! Выпустите меня... Задыхаюсь... Она была, была!..

Он долго бился и кричал,— и повис, обессиленный, на руках у Гусева. И снова затих, задремал.

Гусев опять скорчился под одеялом. Угасли, как испел, желания, коченели чувства. Слух привык к железному пульсу яйца и не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал, иногда лицо его озарялось счастьем.

Гусев глядел на спящего и думал: «Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся, спи, сии... Проснешься — сядешь вот так-то, на корточки, под одеялом,— дрожи, как ворон на мерзлом пне. Ах, ночь, ночь, конец последний...»

Ему не хотелось даже закрывать глаза,— так он и сидел, глядя на какой-то поблескивающий гвоздик.. Наступило великое безразличие, надвигалось небытие...

Так пронеслось непомерное пространство времени.

Посыпались странные шорохи, постукивания, прикосновения каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца.

Гусев открыл глаза. Сознание возвращалось, он стал слушать — казалось, аппарат продвигается среди скоплений камней и щебня. Что-то навалилось и поползло по стене. Шумело, шуршало. Вот ударило в другой бок,— аппарат затрясся. Гусев разбудил Лося. Они поползли к наблюдательным трубкам, и сейчас же оба вскрикнули.

Кругом, во тьме, расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сияли остройми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце.

— Должно быть, мы проходим голову кометы,— шепотом сказал Лось.— Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу.

Гусев полез к верхнему глазку, Лось стал к реостатам. Удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху:

— Легче — глыба справа... Давайте полный... Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич.

Земля

Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрестанно увеличивалась, действовали абсолютные законы математики — понемногу направление полета яйца и метеоритов изменилось: образовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность — голова неведомой кометы и ее след — потоки метеоритов — уносились по гиперболе — безнадежной кривой, чтобы, обогнув солнце, навсегда исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису.

Почти неосуществимая надежда возврата на Землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем, — пришлось снять одежду.

Алмазные поля остались далеко внизу: казались искорками, — стали беловатой туманностью и исчезли. И вот — в огромной дали был обнаружен Сатурн, переливающийся радужными кольцами, окруженный спутниками.

Яйцо, притянутое кометой, возвращалось в солнечную систему, откуда было вышвырнуто центробежной силой Марса.

Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро и она побледнела, погасла. Это были астероиды — маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец в один из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный узкий серп, — это была Венера. Почти в то же время Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся, — потный, красный.

— Она, ей-богу, она!..

В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик величиной с ягоду смородины. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решил применить опасное приспособление — поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться. Теплый шарик понемногу перешел в зенит.





Летело, летело пространство времени. Лось и Гусев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валились среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, вода вся была выпита.

И вот, в полу забытьи, Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое по пояс тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча, схватился за грудь, замотал вихрастой головой, лицо его залилось слезами, усы обвисли.

— Родная, родная, родная!..

Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой Земли. Он пополз к реостатам и повернул их,— яйцо задрожало, загрохотало. Он нагнулся к глазку.

Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми — очертания островов, облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества! Плоть жизни! Сердце мира!

Шар Земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты. Все же полет был стремителен,— оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка. В щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала объятия, принимала блудных сынов.

Удар был силен. Обшивка лопнула. Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригородок.

Был полдень, воскресенье, третьего июня. На большом расстоянии от места падения,— на берегу озера Мичиган, катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов и кофеен, играющие в тенис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в безоблачное небо,— все это множество людей, выехавших в день воскресного отдыха насладиться прелестью зеленых берегов, шумом июньской листвы, слышало в продолжение пяти минут странный воющий звук.

Люди, помнившие времена мировой войны, говорили, оглядывая небо, что так обычно ревели снаряды

тяжелых орудий. Затем многим удалось увидеть быстро скользнувшую на землю яйцевидную тень.

Не прошло и часа, как большая толпа собралась у места падения аппарата. Любопытствующие бежали со всех сторон, перелезали через изгороди, мчались на автомобилях, на лодках по синему озеру. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись, на пригорке. Было высказано множество предположений, одно другого нелепее. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись: «РСФСР. Вылетели из Петрограда 18 августа 192... года». Это было тем более удивительно, что сегодня было третье июня тысяча девятьсот... Словом, пометка на аппарате была сделана три с половиной года тому назад.

Когда затем из внутренности таинственного аппарата послышались слабые стоны, толпа в ужасе отодвинулась и затихла. Появился отряд полиции, врач и двенадцать корреспондентов с фотографическими аппаратами. Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей: один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания, другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал. В толпе раздались крики сострадания, женский плач. Небесных путешественников положили в автомобиль и повезли в больницу.

Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках — слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?

За окном с полуоткрытой, слегка надутой утренним ветром шторой сверкала сизая роса на траве. Влажные листья двигались тенями на шторе. Пела птица. Вдали из-за леса поднималось белое плотное облако.

Чье-то сердце тосковало по этой земле, по облакам, по шумным ливням и сверкающим росам, по великанам, бродящим среди зеленых холмов... Он вспомнил — так в солнечное утро не на Земле пела птица о снах Аэлиты. Аэлита... Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет. Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая,

как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.

Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам Лося. Птица пела о той, что осталась за звездами, и о седом, морщинистом, старом мечтателе, облетевшем небеса.

Ветер сильнее надул штору, нижний край ее мягко плеснулся, — в комнату вошел запах меда, земли, влаги.

В одно такое утро в больнице появился Скайльс. Он крепко пожал руку Лося, — «поздравляю, дорогой друг», — сел на табурет около постели, сдвинув шляпу на затылок.

— Вас сильно подвело за это путешествие, старина, — сказал он, — только что был у Гусева, вот тот молодцом: руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется, — очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и пять тысяч долларов. По поводу вас телеграфировал в мою газету, — получите огромную сумму за «Путевые наброски». Но вам придется усовершенствовать аппарат, — вы плохо опустились. Черт возьми, — подумать, — прошло почти четыре года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку, это вернет вас к жизни.

Скайльс болтал, весело и заботливо поглядывая на собеседника, — лицо у него было загорелое, беспечное, глаза полны жадного любопытства. Лось протянул ему руку.

— Я рад, что вы пришли, Скайльс.

Голос любви

Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей. Засыпало подъезды и окна, за рекой метель бушевала в воющем парке.

По набережной шел Лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Теплый шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым плечам, и даже, когда он кланялся и ветер

взвевал его белые волосы,— никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, чего еще никто не видел.

В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его нелепой фигурой с развевающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные: поэтов восхищали не выюжные бури, не звезды, не заоблачные страны,— но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свист кос,— веселые земные песни.

Прошло полгода со дня возвращения Лося на Землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели положенное число блюд на ста пятидесяти банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее, как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, полгода разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с Лосем едва не улетели на Большую Медведицу,— и, вернувшись в Советскую Россию, основал «Общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудащегося населения».

Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа.

К шести часам вечера он обычно возвращался домой. Ужинал в одиночестве. Перед сном раскрывал книгу,— детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовней измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту,— текли, текли одиночные мысли.

В обычный час Лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую выюгу. Курились карнизы, крыши. Качались фонари. Спирало дыхание.

Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал выюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором,— луч ее вошел в сердце... «Тума, Тума, звезда печали...» Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти

Лось с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него...

Сквозь сон послышался шум — будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары — стук. Сияющая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала, он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба: «Возьмите их». Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала:

— Муж мой, Сын Неба, прощай.

Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда Лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее фланчик с ядом. Она быстро, быстро — одним дыханием — забормотала ему в ухо:

— На мне запрещение, я посвящена царице Магр... По древнему обычаю, страшному закону Магр, — девственнице, преступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его... Но я не могла противиться любви Сына Неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысяче-летия Хао. Благодарю тебя, муж мой...

Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, — ее было много во фланчике. Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание упывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры...

Преодолевая ветер, Лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках и, так же как тогда — в тьме вселенной, — крикнул:

— Жива, жива... Аэлита, Аэлита...

Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на Земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руку глубоко в карман, побрел, шатаясь, к дому.

У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в космистой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.

— Я за вами, Мстислав Сергеевич,— крикнул он весело,— садитесь в машину, едем.

Это был Гусев. Он наксоро объяснил: сегодня, в семь часов вечера, радиотелефонная станция ожидает — как и всю эту неделю — подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов, — есть предположение, что они идут с Марса. Заведующий радиостанцией приглашает Лося сегодня вечером принять таинственные волны.

Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся южный ветер в лицо. Над снежной пустыней Невы пыпало лиловое зарево города, сияние фонарей вдоль набережных, — огни, огни... Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды.

В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свиристящими деревьями, у домика с круглой крышей, автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул замятенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к семи.

Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О время, торопливые удары сердца, ледяное пространство вселенной!..

Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния, пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь...

Гиперболоид инженера Гарина





Этот роман написан в 1926—1927 годах.
Переработан, со включением новых глав,
в 1937 году.

А. Т.

1

В этом сезоне деловой мир Парижа со-
бирался к завтраку в гостиницу «Ма-
жестик». Там можно было встретить
образцы всех наций, кроме француз-
ской. Там между блюдами велись де-
ловые разговоры и заключались сдел-
ки под звуки оркестра, хлопанье про-
бок и женское щебетанье.

В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек, с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажес-тик».

Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума.

Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали моло-
достью, блеском глаз: синих — англо-
саксонских, темных, как ночь, — южно-
американских, лиловых — француз-
ских. Пожилые женщины приправляли,
как острым соусом, блекнущую красо-

ту необычайностью туалетов.

Да, что касается женщин,— все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.

2

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс — длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям.

Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.

Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверены и небрежны. Она была красивая, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немногим большим ртом, с немногим приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страшными.

— Мы будем обедать, Роллинг? — спросила она человеска в котелке.

— Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь прокочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... По нашему же делу... Ужасно извиняюсь... Все устроено... Они согласны... завтра могут выехать в Варшаву...

— Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут,— сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго.

— Простите — я шепотом... В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу...

— Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать,— сказал Роллинг,— вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос,— я выдам их полиции...

Этот разговор происходил в начале мая 192... года.

3

В Ленинграде на рассвете, близ боров гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор,— говорил только один — резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.

Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу

воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна пlesнула на боны.

Спартаковец Таращкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Таращкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнувшего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Таращкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на бонах, Таращкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Таращкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка.

По в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде, со своим двойником. Таращкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, произшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

4

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Таращкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уго-

лоином розыске и спортом занимался для общей тренировки.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? — спросил он, ставя велосипед у крыльца. — Приехал повозиться немножко... Смотри — мусор, ай, ай.

Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов.

— Сегодня придут ребята с завода, — за одну ночь наведем порядок, — сказал Тарашкин. — Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— Не знаю, как и быть, — сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок, — москвичей, с одной стороны, быть нужно, с другой — боюсь, не смогу быть аккуратным... Смешное дело одно у нас навертывается.

— Опять насчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль, — сказал Тарашкин, — а то бы погребли.

Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?

Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.

— Вон в том лесишке заколоченная дача, — сказал он, — недели четыре назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Мы так и подумали — не то там беспризорные, не то бандиты.

— Видели кого-нибудь с той дачи?

— Постойте, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.

И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали, как щелки.

— Пойдем, покажи дачу, — сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера.

Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой,— крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда.

— Вы правы — там живут,— сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом.— Сегодня здесь были... Но за каким дядеволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.

Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке — опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжелого человека, и другие — поменьше, узкие — носками внутрь.

— На крыльце следы другой обуви,— сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.

Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялисьбитые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов ещешипел, дрогая.

Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.

— Вон он! — сказал Шельга.

В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала бородка.

— Ага, вот они как его,— сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож.— Пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.

— Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать,— слышите, Таращкин?

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

6

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты патиной, в углах — плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы.

Здесь не жили, сюда присаживали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистив несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого — нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя

встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.

Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее — убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночныхми занятиями убитого.

Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах, прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице.

— Идите-ка сюда со свечкой, — крикнул из темноты Шельга, — вот где у него была настоящая-то лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стел стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки пепла...

— Вот он чем тут занимался, — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.

В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посередине доски выведено большими буквами «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и

на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

— Фу ты, черт,— сказал Шельга,— нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.

— Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертерев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка додгорела, пирамидка вспыхнула ослепительным белоголубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.

— Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить,— сказал Шельга,— пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо,— что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджиная агента с собакой.

7

На главном почтамте в одно из окошечек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком.

Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет — мизинца», и стал читать бланк.

«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».

Телеграфист подчеркнул красным — Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело? — спросил он грубо. — Принимайте телеграмму.

— Телеграмма шифрованная, — сказал телеграфист.

— То есть как — шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, — но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.

— Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что — политическая, шифрованная.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день

не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй,— в Варшаву Семенову,— представляла некоторый интерес.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к оконечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.

Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И только тогда Шельга понял,— узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском...

Поляк хрюкло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.

Двойник убитого остался стоять у оконечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:

«Париж, бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысить на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П.П.».

— Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии,—сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

— Я агент уголовного розыска,— сказал Шельга, приоткрывая карточку— может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста,— сказал он,— идемте, у меня четверть часа свободного времени.

8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент — весь красный, в пятнах:

— Товарищ Шельга, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.

— Где ваш мотоциклет?

— Вон валяется,— сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда,— он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Я подам на вас рапорт.

— Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?

— Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.

— Вы поразительно похожи на убитого,— сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич,— с готовностью ответил человек с бородкой.— Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии.

Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

Шельга покосился на него, не ответил, спросил:

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интересами Польши?

— Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

«...В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее монгучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой».

Питкевич прочел и — улыбаясь:

— Странно, — не знаю... Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.

Шельга протянул вторую вырезку:

«...В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве, — известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».

Питкевич пожал плечами: «Чепуха», — и взял у Шельги третью вырезку:

«...Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».

Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмурив брови:

— Да. Весьма возможно,— убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх.— Я страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга... Видите — два пузырька,— это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?

Шельга отпустил его руку и засмеялся:

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого плюяка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— У него не только изуродована рука,— у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский...

— Что же,— спросил Шельга,— покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите — игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встре-

чаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, — я не щучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, — пустынно, — и пошел бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?

— Ладно. Согласен, — сказал Шельга, блестя глазами, — нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка — обещаю помочь в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь...

Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь повашему — игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.

— Вот и все, только надавить с одного конца — там внутри хрустнет стеклышко.

9

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, — будто налетел на телеграфный столб: «Хе! — выдохнул он, — хе! — и бешено топнул ногой: — Ах, ловкач, ах артист!»

Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, — «вывернулся, проклятый, обошел!»

Шельга взвел на третий этаж к себе в отдел. На

столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.

— Бабичев, управдом,— сказал он с сильно само-гонным духом,— по Пушкинской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый... Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона,— управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, гла-за слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату,— значит, этот пакет я нашел дополнитель-но в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости, краска для волос.

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула — комитет к нему обратился... Он — «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось,— управдом опять прикрыл рот,— чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам,— не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Пет-ропградской стороны. Оказалось,— в пристройке дома двадцать четыре по Пушкинской действительно про-живал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкинской в фев-рале с удостоверением личности, выданным тамбов-ской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сей-час же в нем признал жильца из трипнадцатого номера.

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками.

Только здесь, в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаваться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, скимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста — девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно», — шептал он.

Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза.

Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.

Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и все это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он опять лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеет-

ся, они не нашли!» — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.

В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дома.

11

В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиций...

Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили, — зевнув, ответил голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.

Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовика у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули, — оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал:

— Люк, отвалите люк в кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.

Из подполья выскочил Шельга, — весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.

— Скорее сюда! — крикнул он, исчезая за дверью. — Свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера.

ра, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.

— Осторожнее! — крикнул Шельга. — Не дышите, уходите, это — смерть!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.

12

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырех ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, укрывали камин.

За высокими, темного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.

Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приемной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в темно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: желтый кружок с четырьмя черными полосками... Приоткрывая дверь, король вонзился глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом — «прошу».

13

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандаш двумя пальцами:

— Простите, ваша фамилия?

— Генерал Субботин, русский... эмигрант.

Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканым платком провел по серым усам.

Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:

— Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?

— Чрезвычайная, весьма существенная.

— Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу.

— Видите ли, цель, так сказать, проста, план... Обоюдная выгода...

— План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь.

— Совершенно верно... Я намерен предложить мистеру Роллингу.

— Я боюсь, — с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание, — боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на

Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развертывает силы на плацдармах буферных государств,— очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.

Генерал Субботин, побагровев от страшного пролива крови, перебил:

— В чем же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот — превосходный план. Надо действовать! От слов к делу... За чем же остановка?

— Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам.

— Какого такого эквивалента?

— Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.

— Ясно, как божий день... доходы... колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй,— золотые горы такому человеку! — Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря.— Ага! Значит, указать также эквивалент?

— Точно, вооружась цифрами: налево — пассив, направо — актив, затем — черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.

— Ага! — Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.

Не успел генерал выйти — в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара.

— Доброе утро, дружище,— торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость,— пропустите-ка меня к королю вне очереди.

Золотой карандашик секретаря повис в воздухе.

— Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.

— Э, вздор, дружище... У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы... Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.

У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосце Семенов, вас просят»,— просвистал он нежным шепотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.

Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле.

Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов, и этим не смущаясь, сел напротив по другой сторону стола. Роллинг сказал:

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу,— свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей... Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Опи видели действие прибора... Но тут, черт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гаринах оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале,— брезгливо сказал Роллинг.

— Одного нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае — он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный,— пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом,— перебил Роллинг,— двойник или сам Гарин жив, и ни чертёжёй, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные миою деньги.

— Хотите — я позову,— в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела,— он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа,— Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского, и не надо,— удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг,— тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу,— такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова. (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собой, он потянулся к звонку.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

15

Роллинг вскочил,— ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу.

— Вы лжете.

— Ну вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заме-

тил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и — нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженное дыхание:

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже,— если вы совершили преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти...» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом — не больше, чем на секунду,— положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.

16

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такая борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый», — говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он — тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем.

Нет, ни капли случайности, — только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья...

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.

Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24 НР, ее прогулочный автомобиль — полубожественный рольс-ройс 80 НР, ее вечерняя электрическая каретка, — внутри — стеганого шелка, — с вазочками для

цветов и серебряными ручками,— и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков,— вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) прессы «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев,— восклицала газета,— их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое плащанице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной грации), ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность

стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она — на всех благотворительных вечерах. Она — как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скропогачей, тех самых коротеньких молодчиков с воло-сатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.

Очень скоро она поняла, что скропогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортера большой газеты, — и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, — на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монрэз.

Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монрэз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфе-

лева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

17

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек; я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, — я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и продела-ла верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.

Роллингу показалась занимательной ее ледяная страсть. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.

В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли «американским буйволом». Действительно, он казался великанином среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроников, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованьем двадцать семь долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть — до конца.

18

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ножевых платьев уличным девчонкам.

У Зои Монроз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, боек и не брезглив.

Однажды Зоя Монроз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вздор, никто не испугается... У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

«...В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, погляка, вместе с ним кончил технологический институт, — Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры — мелом — следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное. Подмигивает. В чем дело? «Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай люли! — миллионы! Какой там, — сотни миллионов (золотых, конечно)!» Я, разумеется, пристал — расскажи, он

только смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело,— думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахара. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти,— рука и грудь забинтованы.

— Кто это тебя так отдал?

— Подожди,— отвечает,— святая дева поможет — поправлюсь — я его убью..

— Кого?

— Гарина.

И он рассказал, правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата.

Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объеме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне,— говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат.

Такое недоверие бесило Тыклинского. Они частоссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты,— в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гарином и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилькой перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку.

Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей,— ему пришлось уносить ноги из Петрограда».

Рассказ этот произвел на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор!

Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.

19

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и дуhamи была напитана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие — приказчики и приказчицы, чиновники и служащие — развлекались, кто как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг, во фраке, помешался, с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным, — мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуче, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да, — ответил он, — я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана, обхватила колено.

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О да. Четвертое производное от каменного угля — тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензол (C_6H_6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3), дает нитробензол. Формула нитробензола — $C_6H_5NO_2$. Если мы в ней две части кислорода O_2 заменим двумя частями водорода H_2 , то есть если мы нитробензол начнем медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с не-

большим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он дает синюю краску — кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии... Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу, головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней... На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, сгнивают заживо...

Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он помахал около носа до половины выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф со-здал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвуд-

ский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас и химия — у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса...

— Роллинг, — перебила Зоя, — вы сами накликаете беду... Ведь *они* тогда станут коммунистами... Придет день, когда *они* заявят, что вы им больше не нужны, что *они* желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

— Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом.

— Роллинг, будет поздно! — Зоя стиснула руками колено, подалась вперед. — Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов... Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, — я это знаю, — окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов — все, что может взрываться и гореть.

Роллинг снял ноги со скамеек, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опять на...

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания... Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вшел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиною в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насеквозд каким-то тонким оружием полоски, завитки и наискосок, словно пером — скорописью, было написано: «Проба силы... проба...

Гарин». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера», — сказал он негромко, — как будто писали иглой в мягком тесте.

— Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов, — сказала Зоя. — Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю, — вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, — она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, — оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учтывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило. Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведенного, здравый смысл сказал: Зоя права. Практический ум подвел баланс: самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть:

— Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже.

На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на нее.

— Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак,— сказал Роллинг.— Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было — за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже?

Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, шляпные куши каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник — по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно представлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым, жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шоферу, но прорваться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскоцил человек среднего роста, в широком коверковом пальто и скрылся под землей.

Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пuma из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуз».

21

Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаше подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком.

— Кто это — мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, пся крев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме,— пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу,— пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума,— никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гарином... Пани и пан поймут наше волнение... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга... Нет, мой помощник слишком погорячился...

Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку.

— Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпал сторожа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что

господь руководил вами, когда вы послали меня вырывать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина,—он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку,—раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол.

— Ди-фенил-хлор-арсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого,—дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками,—сказал Роллинг.

— Так... Пан говорит истину,—это была газовая гранатка... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой, добрался до дома. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила:

— Вы уверены, что Гарин также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин фи-

зик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже,— ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опыты над пирамидками.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, на бульваре Батиньоль,— мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник,— ответил Семенов.— Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дома в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку.

— Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и тоже лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники...

Роллинг упрямно мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.

Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело,— в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи,— или будете работать вместе с нами?

— Ни в коем случае! — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. — Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших заливах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков — и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

22

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы «Дюбонэ», «Дюбонэ», «Дюбонэ» — отвратительного напитка, вбиваемого рекламиами в сознание парижан.

Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам: «Дивное мыло», «Могучие подтяжки», «Вакса с головой льва», «Автомобильные шины», «Красный дьявол», резиновые накладки для каблуков, дешевая распро-

дажа в универсальных домах — «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галерея Лафайетт».

Шумная, смеющаяся толпа хорошеных женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджаках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак, — теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери... «О-о-о-о», — проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившихся за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамейке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился:

— Прошу пана заметить — лишь приличие удержало меня от скандала... Сто раз я мог вспылить... Не ел я завтраков у миллиардеров! Чихал я на эти завтраки... Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений уличной девки... Предложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья дочь, щлюха!

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои, — она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась...

— Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами... Но я — поляк, прошу пана заметить, — Тыклинский страшно выпятил усы, — я не позволю со мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, усами потряс, облегчил душу, — после некоторого молчания сказал ему Семенов, — теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас в конце концов ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейным... Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором... Ты говоришь — сыщики... Ерунда! А я говорю — нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в

разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым-Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже — на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму:

«Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие».

23

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне.

Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахомочных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырьими опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавочки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами, — все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянулись снизу, из буржуазных кварталов Парижа.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами; в лодках, кастриолях, горшках — кругом, кругом, кругом, — отражаясь в тысяче зеркал, помчаться под

звуки паровых оркестрионов девушки в юбочонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков.

Закруются огненные крылья «Мулен-Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов.

В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки. Из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюйдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем, — самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку.

Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями — Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это — места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда — с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана — не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувшийся по берегам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города — площадь Пигаль — бульвар Клиши — площадь Бланш.

24

Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотом пальто свернул в боковую узкую уличку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра.

внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, еще носящие по старинному обычай широкие штаны и широкополую шляпу.

Он спросил газету, рюмку портвейна и принял за чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка — усатый, багровый француз, сто десять кило весом, — засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал, — хочешь — слушай, хочешь — нет.

— Что вы там ни говорите, а Россия нам надела много хлопот (он знал, что посетитель — русский, звался мосье Пьер). Русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла... Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы! Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно! Аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте — сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «Да здравствует Ленин!» — и машут красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «Да здравствуют Советы!» — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает.

Проклятые спекулянты, эти вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта, — это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне, с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин, — сказал он тому, кто читал газету, — можешь меня поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор...

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в коем случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица, — твердые, худощавые, сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть кораблик Лютеции¹ в солнечный океан.

— Сюда, — сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

25

Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

¹ Герб Парижа, или по-древнему — Лютеции, — золотой кораблик.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать, — так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России — вы мне помогли... Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите — какого черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела...

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да, — твердо сказал он, — согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб.

— Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором. Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами... Конечно, ну, конечно... Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас — будничная работа, будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на все?.. Смешно... Что же — это «все»? Украсть, убить?

Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев двадцать второго апреля пятидесятого года. Из-под земли поднялось густое

облако и поподзло на нас желто-зелеными волнами, как мираж,— во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям, в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало их. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза... Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом,— насмешливо сказал Гарин,— вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами... Итак... Я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие...

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загrimироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклейте фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают,— скажем — в Латинский квартал. По рукам?

Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором.

Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнурка. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая,— так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно,— сказал Гарин,— надеюсь — никакой копоти?

— Сгорание полное, при этой страшной температуре. Материалы химически очищены.

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса,— сказал Гарин,— идем обедать. За вещами в гостиницу пошли посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется... второй ключ от сарая?

26

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабели свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и, разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Спартаковец Тарашкин шел не спеша на острова, в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило оттого, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистываний да спокойной походочки.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина.

Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков, в штанах клешем и в толстых куртках: они, сердито сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом,— босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза — как у волчонка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьему дал ногой леща,— мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин тряхнул их посильней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице,— сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца,— маленьких обижать, шкеты! Чтобы этого у меня больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попались нам теперь, удалились,— руки в карманы.

Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх, ты,— сказал Тарашкин,— ты где живешь-то?

— Нигде,— из-под кофты ответил мальчик.

— То есть как это — нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки,— в мальчишке не было и пуда весу,— и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только ворую.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красоту, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое лицико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Таращкин вытащил его из-под мостков, вел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Таращкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объект, к воде приучим, нам расторопный мальчонка нужен.

Товарищи согласились: пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло, — видел и не такие виды.

Таращкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, с верху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело, — ответил мальчик и отвернулся, — значит надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Таращкин ничего от него не добился.

27

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, — узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Таращкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой, серье́зный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанием вокруг шеи, глядел на секундомер.

— Гроза будет, — сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пшенико-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем,

что голубовато-хрустальный свет его словно валился грудами кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду! — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сидениях.

— Ать-два!

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке.

— Ать-два, ать-два, ать-два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро, в такт ударам сердца — вдыханию и выдыханию — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно брахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой, — на переносицу рулевого, держа глазами линию равнovesия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед:

— Ишь, черти!.. Вот дунули!..

Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие нестрогие значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги.

Прокользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд села на руль у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?»), вошла в узкую, с пышными берегами, Крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов гребной школы.

Шельга и Тарашкин выскочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнувшись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее

из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растирлись докрасна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы приняться, наконец, за его благоустройство.

28

На открытой веранде, на высоте этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика:

— Растропный, умница, ну, прелесть.— Он перегнулся через перила и крикнул:— Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были гребные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот,— сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика,— сколько его ни уговариваю снять жилетку — ни почем не хочет. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу,— сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу,— Иван показал на пупок, помялся и придинулся поближе к двери.

Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по заргу оставались белые следы, крякнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же,— спросил Шельга,— воды боишься?

Мальчик посмотрел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься — украшут? — спросил Шельга.

Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.

Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу.

— Э, так мы играть не уговаривались. — Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери. — Ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на дверные стекла.

— Давайте, — сердито повторил Иван, — чего смеешься? — не маленькие.

— Ну и чудак! — Шельга громко рассмеялся. — Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился сму в руку.

— Вот дурной. Брось кусаться!

Тарашкин крепко прижал его к себе. Гладил по сизой обритой голове.

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, нельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно, — повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы, — кусал ногти, щурился, как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашки-

на, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертymi буквами:

«...Петру Гар... Резуль...ы самые утешит... глубину оливина предполагаю на пяти киломе...ах, продолж... изыскания, необх... помошь... Голод... тороплюсь экспедиц...»

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...
Это была телеграмма Гарина из Парижа.

29

Золотой карандашик коснулся блокнота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем — не поднимая глаз:

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря, — слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному, — тем не менее я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки — на колено, Гарин сказал:

— Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да, — ответил Роллинг, — для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна, — они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей,— резко ответил Гарин,— это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю — у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячечную фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм! — сказал Роллинг.

— Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах; но вам не хватает большой идеи. Ну — химический концерн. Ну — воздушно-химическая война. Ну — превращение Европы в американский рынок... Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он — сумасшедший? — спросил Роллинг.

Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.

— Видите — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения,— сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гарином расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только два красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло

и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гарином, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба,— Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.

— Глупо делить с инженером Гарином барыши, когда я могу взять все сто процентов,— сказал он.— Итак, чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков и ни сантима больше.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваешься. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи,— всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.

— Дешевая игра,— сказал он,— вы врете. Я прошумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) Убирайтесь к черту!

Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах...

— Ни сантима! — крикнул Роллинг. — Убирайтесь, или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов! Вон!

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударила в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс; изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отходил от стола — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе (вырванном из большого блокнота) крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим было написано: «Улица Гобеленов, шестьдесят три; инженер Гарин». (Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: «Пять тысяч франков — Семенову...»

— Удача! Черт! Вот удача! — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами.

Гарин поспешил сел за его столик — спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала; такая же была у Виктора Ленуара продолговатая бородка, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь — удача! Необычайно! — сказал Гарин, смеясь глазами. — Роллинг пыщел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два-три дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условие — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, подзывая лакея. — Бутылку Ирруя, самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие, — десять Роллингов послали бы к чертям.

— Какое камчатское предприятие?

Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать:

— Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки на Лене, на Алдане, затем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки в пятнадцать килограммов... Вот тогда именно у меня зародилась идея, генеральная идея моей жизни... Это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это. А раз верю — сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печеньками, — это власть... Не какая-нибудь королевская, императорская, — мелко, пошло, скучно. Нет, власть абсолютная... Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах.

Чтобы властвовать — нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золота больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых...

— Действительно, у тебя планы смелые, — весело засмеявшись, сказал Лешуар.

— Но я на верном пути. Весь мир будет у меня — вот! — Гарин сжал в кулак маленькую руку. — Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее — его миллиарды, и, в-третьих, — мой гиперболоид...

— Так что же Манцев?

— Тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньжонки, больше нахальством, чём подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь... До семнадцатого года он мне еще писал: работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи... С восемнадцатого года — сам понимаешь — след его потерялся... От его изысканий зависит все...

— Что он там ищет?

— Он ничего не ищет... Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана — азиатское и американское — представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была оказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии... Цепи действующих вулканов Южной Америки — в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы Оливинового пояса — золото, ртуть, оливин и прочее — по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности земли, чем в других местах земного шара...¹ Понятно тебе?

— Не понимаю, тебе-то зачем этот Оливиновый пояс?

— Чтобы владеть миром, дорогой мой... Ну, выпьем. За успех...

¹ Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром земли есть слой расплавленных металлов — так называемый Оливиновый пояс.

В черной шелковой кофточке, какие носят мидинетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певиц с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток и анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, вожделея женщин, ботинки, шелковое белье и все на свете...

Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками, — пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?» Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Ки-ки, наконец-то...» Зоя коротко послала его к черту.

Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» былнюх на женщин. Она приказала гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал старичок актер, проходя мимо, потрепав ее по спине.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша подошел тот, кого она ждала, — угрюмый, плотный человек, с узким, заросшим лбом и холодными глазами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Боно. На войне он выслужился до унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз давно уже перешагнула. Гастон Утиный Нос говорил:

— У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экое диво — кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо, — для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжег мне спину у дома паромщика на Изере, — современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, изволите ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, — у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монрэ он относился с величайшим уважением. Встречаясь вочных ресторанах, почтительно предлагал ей протяневать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва клянялась небезызвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее щекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной мидинётки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что ему говорила Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: не те времена. Сегодня апачи предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделаешь — зреющим людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите ме-

ня нанять за деньги — я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утиного Носа.

— Мне кажется, — мы с вами договоримся.

У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз.

— Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сюзанну от моих услуг?

— Да, Гастон.

Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно. — Он откинулся. — Ладно. Будет все, как вы хотите.

32

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — «Корона Коронас» — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час: куда ехать «далше», каким сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое?

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений.

— Хотите танцевать?

— Нет, — ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр, — читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обозрение. Обозрение. Вот: «Олимпия» — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите — поедем?

— Милый друг, они все кривоногие — девчонки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустим. «Скайла». Опять женщины. Так, так. Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят, — сказала Зоя, — поедемте.

Они заняли литерную ложу у сцены. Шло обозрение.

Непрерывно двигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высоковалютными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж.

Поболтав о политике, непрерывно двигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоп, ля-ля». И на сцену выбежали голые, как в бане, очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать, — сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщии так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рамы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банда, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается, — в невероятном фраке, в жилете по колено, сваливающиеся штаны, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго идиота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на заду — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду. Джек бил Пима по морде, тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того вскачивал гуттаперчевый волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся,

сказал: «Ну, сыграй на этом рояле», — и сел поодаль. Джек изо всей силы ударили по клавишам — у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударили по клавишам — у рояля отвалился бок. «Это ничего», — сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покатился через всю сцену, упал (барабан — бумм). Встал: «Это ничего», — выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударили по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством, вдохновенно стал играть «Кампанеллу» Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего, — сказал Пим, когда Джек кончил играть, — теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго идиота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею соболий мех, сверкнула бриллиантами.

— Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся! Половина одиннадцатого.

— Едемте пить.

33

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин Короля». В низкой, пунцовом шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их грибированным щекам прижимались багровые и блед-

ные, пьяные, испытые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лутили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвигнулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю,— надрываясь, кричал метрдотель, с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин.

— На вас обращают внимание,— сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. ЦеллулOIDНЫЙ шарик ударился ей в щеку.

Она медленно повернула голову,— чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьяниться?

У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, исподлобья встретила в упор этот взгляд... Где-то она видела этого человека. Кто он такой! — ни француз, ни англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

«Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью,— Гарин... Целую ручку. Семенов».

Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурно». Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского.

Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас? Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал.

— Роллинг, разве вы не узнаете его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сопнул. Вынул сигару — «Ага». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом.

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантине она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно, до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг поджидал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки:

— Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым Пьянковым-Питкевичем... Кое-что осталось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?..

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да... Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал. — Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листков...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила

платье и легла в широкую лепную, на орлиных ногах, кровать под парчовым балдахином — одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот решительно все, что было», — и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полураскрылся, химический король заснул.

Этот посапывающий нос в особенности мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняла их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина... «Быть может, позвонить Гастону Утиный Нос, чтобы обождал?» Вдруг точно игла прошла сквозь нее: «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде...»

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо патянула чулки. Роллинг замычал было во сне, но только повернулся на бок.

Зоя пробежала в гардеробную. Надела юбки, дождевое пальто, тую подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги...

— Роллинг, — тихо позвала она, — Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Улица Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как страшно, как мрачно...» Обеими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.

Старый трехэтажный дом, номер шестьдесят три по улице Гобеленов, одною стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница дляочных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов — ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, — все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер шестьдесят три. Было холодно спине. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел.

Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене, цвета бычьей крови, тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцать.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху, винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утиный Нос... «Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел...»

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рису-

ночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома, спит,— она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло — 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату, в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены, между умывальником и комодом, сидел на полу человек в одной сорочке, голые коленки его были подняты, огромными казались босые ступни... Луной освещена была половина лица, блестел широко открытый глаз и белели зубы,— человек улыбался. Приоткрыв рот, без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо,— это был Гарин.

Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утиный Нос: «Укради у Гарина чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала: поманит такой человек — она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, появив опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще на сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть?

Она глядела на зубы и выкаченный глаз Гарина. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее вздутые царапины. Это было то лицо — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, сконфетти в шелковистой бородке... Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнуться без чувств». Последним усилием она оторвала пуговицу

на душившем ее воротнике. Пощла к двери. В двух рядах стоял Гарин.

Так же, как и у того — на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив...»

— Убит не я, — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить, — вы убили Виктора Ленуара, моего помощника... Роллинг пойдет на гильотину...

— Жив, жив, — хриповато проговорила она.

Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи.

— Зачем вы здесь...

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому приказала вас убить...

— Я это предвидел, — сказал он, глядя ей в глаза.

Она ответила как во сне:

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой...

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама...

Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Ленуар. Гарин проговорил тихо:

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Да. Пощадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня. Пощадите, — повторила она.

— Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга... Я такой же убийца, как вы... Шадить?.. Нет, нет...

Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу...

— Идемте. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина, — глаза его блес-

нули сумасшедшими юмором,— наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?..

Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпирался двери.

— Как видите,— все предусмотрено.— Они вышли под темные, сырватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гарином по телефону.

35

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов) он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры. Но внезапно на верху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция.

Проиграв «пешку», Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхт-клуб, разбудил дежурного по клубу, всключенного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:

— Зюйд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петьяка, сторож.

— Разрешите осмотреть боны.

— Есть осмотреть боны,— ответил моряк, едва попадая спросонок в рукава морской куртки.

— Петьяка,— крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу,— сказал моряк, поднимая воротник от ветра.

Сторожа нашли неподалеку в кустах,— он здорово храл, закрыв голову барабанным воротником тулуна. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Дул крепкий, со шквалами, ветер.

— Вы уверены, что все яхты на месте? — опять спросил Шельга.

— Не хватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну загнали два судна.

Шельга дошел по брызгущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала,— один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал. Сдвинул зюйдвестку на нос. Ничего не сказал. Пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией.— Шкот ему в глотку! Увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петьяка, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петьяка ахал, дивился, бил себя по бокам барабанными рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевином по неизведанным безднам великорус-

ского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань.

Прошло часа три по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Была сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком, — вблизи берега был замечен парус. Это была среди подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть остряк — четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), — это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде». Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, — отправленный газами и, может быть, раненый, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма (из Парижа): «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был крик о помощи.

Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось — надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспрizорный мальчишка, по-

сле того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился,— глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки.

— Ну, как же, Иван,— сказал Шельга, придинув стул и нагибаясь к лицу мальчика,— где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались,— леденец проскользнул в рот.

— Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах, и это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой,— ешь досыта — все твое...

— Так вы мальчишку собьете,— сказал Тарашкин.

— Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда?

— Мы с Амура,— ответил Иван неохотно.— Мать померла, отца убили на войне.

— Как же ты жил?

— Ходил по людям, работал.

— Такой маленький?

— А чего же... Коней пас...

— Ну, а потом?

— Потом взяли меня...

— Кто взял?

— Одни люди. Им мальчишка был нужен,— на

деревья лазать, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи, бегать, за чем пошлют..

— Значит, взяли тебя в экспедицию? (Иван моргнул, промолчал.) Далеко? Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты — наш брат...

— Восемь суток на пароходе плыли... Думали, живые не останемся. И еще восемь дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору...

— Так, так,— сказал Шельга,— значит, экспедиция была на Камчатку.

— Ну да, на Камчатку... Жили мы там в лачуге... Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли, потом еще двое ушли, жрать стало нечего. Остались он да я...

— Так, так, а кто «он»-то? Как его звали?

Иван опять насупился. Шельга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной остиженной голове...

— Да ведь убьют меня за это, если скажу. Он обещался убить...

— Кто?

— Да Манцев же, Николай Христофорович... Он сказал: «Вот, я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два — доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано, он тебя наградит...»

— Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина?

— Большевиков боялся... Он говорил: «Они хуже чертей. Они меня убьют. Они, говорит, всю страну до ручки довели,— поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались...» Где ему знать,— он на горе сидит шестой год...

— Что он там делает, что ищет?

— Ну, разве он скажет? Только я знаю... (У Ивана весело, хитро засияли глаза.) Золото под землей ищет...

— И нашел?

— Он-то? Конечно, нашел...

— Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, указать можешь, если пойдёшь?

— Конечно, могу... Только вы меня, смотрите, не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый...

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надпись у него на спине. Затем сфотографировал ее.

— Теперь иди вниз, Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись, — сказал Шельга. — Не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, рости на здоровье. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

36

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник да стригли воздух ласточки, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато-зеленую землю. Ниточки вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась синева воды.

Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко визу.

Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что в конце концов воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком — пронырнешь, лишь запотеют окна в кабине, пробарабанит

град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе,— ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется: вот это так ухабик!.. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, людей в бушующие волны,— металлическая птица прочна и увертлива,— качнется на крыло, взвоет моторами, и уже выскочила, взмыла на тысячу метров выше гнездовины урагана.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранными, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет тридцати пяти в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое, с тонкой кожей, лицо, умный нахмуренный изящный профиль, русая бородка, рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) Земляк — я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович? (Наклон головы.) Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума,— проговорил в трубку заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути.

Хлынов повернулся всем лицом к Шельге,— глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю,— не специалист.

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя,— Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю,— от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип

насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое,— Шельга показал пальцами.

— Атом в сравнении с песчинкой — как песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой материальной энергии, величиной в одну стобиллионную сантиметра.

На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехеразады, но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы,— в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

37

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор, над лазоревыми провалами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял, слегка сутулясь, в потертом пальтишке, около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек,— даже кепка из Ленинградодежды.

Шельга рассмеялся:

— Здорово все-таки, забавно жить. Черт знает как здорово!

Когда взлетели с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарина рассказываете?

Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он, — про Гарина. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто взял в рот кислого. — Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантуррист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова.

— Просветленный, дисциплинированный разум — величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинка во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборо-тов Земли вокруг Солнца, — разум, охватывающий всю вселенную... Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут ка-

кой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?.. Так именно Гарин обращается со своим гением... Я знаю,— он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфракрасных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндель-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно,— чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать нерассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так,— открытие очень значительное.

— Мне давно уж кажется,— сказал Шельга,— что вокруг этого изобретения пахнет крупной политической.

Неожиданное время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули.

— Отышите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина,— сознает он свои обязанности? Или он действительно пошляк... Тогда дайте ему, черт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Или убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над зелеными ровными квадратами полей, над прямыми линееками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгнояя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху, ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел.

посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна.

Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверью в ванную и снова появилась в спальне, — пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять дверь. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня», — сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Хозяин ресторанчика, месье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холеной ассирийской бородой и благородным лбом, месье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители — из делового мира Большых бульваров, женщин — немного. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, врашая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих

клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того,— он предвидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела,— все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье, сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого Пун,— можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только пата-гонец, питающийся водяными крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в академии пищеварения, миллиардер, и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя, вылез из рольс-ройса, пропахшего гаванами,— платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омар на второе и седло барана. Виню мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и бутылку шампанского заморозить,— сквозь зубы сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: клиент на сегодня потерян,— примиряюсь.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже,— и всадил бы ей в бок лезвие складно-

го ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что знала для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его,— золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал:

— Читали газеты?.. Я был только что в морге... Это он... Мы тут ни при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмартре, у девочек... Установлено — убийство произошло между тремя и четырьмя утра,— это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со столом для Семенова.

— К черту,— проговорил Роллинг сквозь завесу виски,— вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

39

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием прессы подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Прессы была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие

документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устроили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишина да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме шестьдесят три по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «тайном и кошмарном преступлении». Личность убитого не была установлена, — документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались при убитом. Трудно было также предположить месть, — комната номер одиннадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей оказалась шикарная женщина. Аристократка? Буржуазка? Или кокотка из первого десятка? Тайна... Тайна...

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, башки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы, — намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра «Олимпия» — произнесла историческую фразу: «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец, он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неистово юля, по дороге рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу

с жестом, приказывающим повернуть,— но сдержался и только свирепо засопел.

В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий, любопытные консьержки в вязанных пелеринках, хроникиры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров,— все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покатой мраморной доске, головой к полу подвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желтомертвое лицо «изуродовано судорогой ужаса». Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

40

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Закрыл глаза. И тогда вспомнил то, что его мутило весь день...

«...Роллинг. Роллинг... Мы погибли...»

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью,— он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его,— не донес до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах.

Роллинга подбросило, точно пружиной... Итак,— странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб; волнение Зои в кабаке «Ужин Короля»; ее настойчивые вопросы: какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем — «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Ее исчезновение. Труп двойника в морге. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера,— он помнил,— в пышных волосах Зои сияло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. (В половине пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила.— Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками.— Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..» Что-то вчера произошло,— перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца — сообщник Зои или сам Гарин?

И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоином настроении,

Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего произшедшего, то это — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намека на его имя в связи с убийством, и — непомерный биржевой скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам,двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий. Нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей — все это застрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому застыванию, стоя с раздутыми щеками перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои он стал воображать ее самое — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, прикосновение ее руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком, — со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишок) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будет вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни,— в первом этаже,— выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнулся голову и глядел на Роллинга не мигая.

41

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать или грабить,— он поднял ладони,— я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляясь по делу на бульвар Мальзерб, сорок восемь бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй.

— Виноват,— вежливо ответил человек,— моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно привести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу! — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь,— заорал Роллинг.

— Принимаю! — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлялся и ска-

зал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглянулся.

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?

— Довольно! — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага! — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности? — вот они: сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома шестьдесят три. (Роллинг моргнул, будто его колынули). Всю себя от ревнивых предчувствий, я ходил по тротуару мимо дома шестьдесят три. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому шестьдесят три. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, влившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца — Гарин. Зоя — сообщница... Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппа-

рата. Честный сержант и классический дурак Гастон случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщнику и предать негодяев в руки правосудия.— Роллинг выпрямился, голос его звучал, как сталь.

Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, выдавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете,— есть вещи, которые не говорятся прямо... умоляю вас — не звонить... Фу, черт!.. Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?..

Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на уз-

кой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю к задней части кузова.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер, с колосьями в руке, клялся перед жертвеником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость,— теперь возвышалась Эйфелева башня; два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практические и дешевые автомобили господина Ситроена...»

42

Ночь была сырватая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола, невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертыe ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения. Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же в самом деле в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. «Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Мими, это — цивилизация».

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные куши лип и нежные трещотки дре-

весных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать — сорок минут подадут машину. Что же — да или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ невесело засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель.

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели, — вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас, — что поделаешь?

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал: ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу и не расстанусь.

— Ого! — сказала Зоя.

— «Ого» — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделашь! Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Разве вас это не убеждает?

— Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливиновый пояс.

— Что?

— Оливиновый пояс. Гм! Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найду вашего Роллинга в швейцары, — вот что такое Оливиновый по-

ис. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть! Упоение лебывало на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингис-хана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Какое мещанство!..

— Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместницей бога или черта,— что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей,— иногда в этом бывает потребность,— ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы — и я проникну сквозь Оливиновый пояс. Вы не верите?..

Помолчав, Зоя проговорила тихо:

— Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.

Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливиновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах спицки.

— Сейчас — мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат.

— Не много. Хорошо, я посмотрю. Идемте.

43

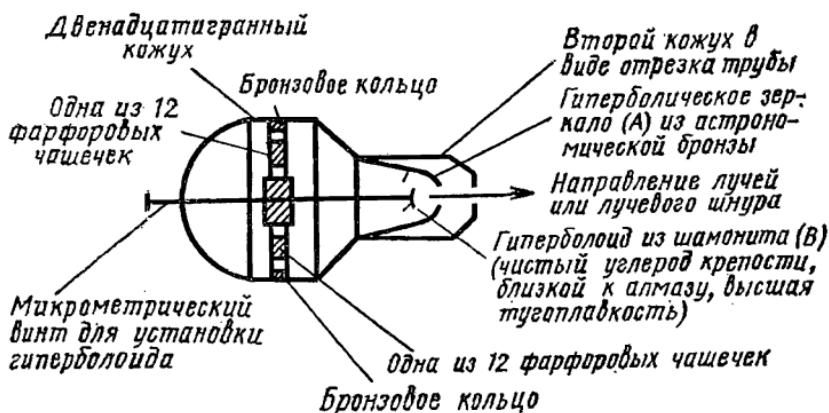
В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято,

волосы небрежно прибранны, лицо утомленное,— такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат,— сказал он, ставя на стол два металлических ящика: один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

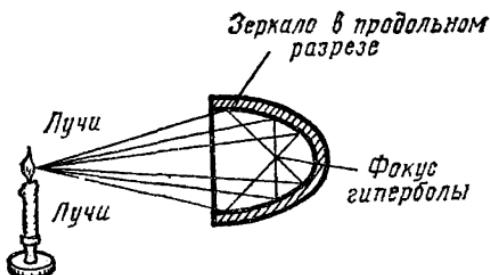
Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каминной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель,— сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками,— она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата.— Он наклонился над Зоинным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежик размером в половину листа писчей бумаги.— Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема...



Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (A), напоминающем фор-

мой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита (В), сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:



Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, на выворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — шамонита (В), — залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?



Лучи, собираясь в фокусе зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур» любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы.

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем

установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоявшей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат, — как вы видите, — и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост... Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, заминая работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры.

— Три машины и восемь человек, — сказал он шепотом, — это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака.) Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым... — Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минуты не выберешь.

— Вы с ума сошли, — лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек, вздор, вздор! — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось.

— Слички, — прошептал он, — нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек, — от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку воско-

вых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

44

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма,— ответил грубый голос,— отворите!..

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять,— зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю,— свирепо проговорил Гарин,— если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О-ля-ля!.. О-хо-хо!.. Гы-гы!..— завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенные. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым,

от филенок полетели щепы. Портвьера на окне зависла и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа во рту нож-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался, — задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански — лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот не то, чтобы крикнуть, не то, чтобы заглотнуть воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

• • • • • • • • • • • • •

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по-ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне. — Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду...

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя, на четвертом этаже, на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был дущен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы ве-ранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная ас-фальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары.

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста,— ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом выражало покой могу-чей машины. У профессора было больше темперамен-та (старое поколение),— стального цвета борода рас-трепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна.

Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепрог-лаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили десять.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая ста-рушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в чер-ной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилегший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровное лицико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионы. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один как один,— плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью,— они по временам за-

полняли улицы. Они многое хотели, выпячивая тяжёлые челюсти.

Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет захвачен...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов. И вот — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

• • • • • • • • • • •

На террасе появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежевыглаженной скатерти, предложенной сигарой в двадцать пфеннигов и беседой, стоявшей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами.

В будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары».

— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую «Л'Энтрансаж» и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилль Давре» увидел снимок, изобра-

жающий семерых людей, разрезанных на куски. «На куски так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника: это, как и надо было ожидать, — русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимет заслугу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельные раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...»

46

— Шах! — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем. — Шах и мат! Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой империалистической политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену.

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделаешь, — победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отправляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них прощадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой

воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадежная печаль эллинской цивилизации, разнужденные страсти Рима среди дымящихся развалин городов, изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда, и наш век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чушь кинематографа,— на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — пессимизм. Проклятый пессимизм... Я читал вашего Ленина, мой дорогой... Это великий оптимист. Я его уважаю...

— Вы сегодня в превосходном настроении, профессор,— мрачно сказал Вольф.

— Вы знаете почему? — Профессор откинулся на плетеном кресле, подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо посматривали из-под бровей.— Я сделал прелюбопытнейшее открытие... Я получил некоторые сводки, и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению... Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям,— я бы, пожалуй, опубликовал его... Но нет, лучше молчать...

— С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться,— сказал Вольф.

Профессор лукаво подмигнул ему:

— Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству... вы слышите,— я подчеркиваю: «честному», в это я вкладываю особенный смысл...— предложил бы любые запасы золота?

— Откуда? — спросил Вольф.

— Из земли, конечно...

— Где эта земля?

— Безразлично. Любая точка земного шара... Хотя бы в центре Берлина. Но я не предложу. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех Фрицев, Михелей... Пожалуй, мы станем еще бедней... Один только человек,— он обернулся к Хлынову седовласую львиную голову,— ваш соотечественник, предложил

сделать настоящее употребление из золота... Вы понимаете?

Хлынов усмехнулся, кивнул.

— Профессор, я привык слушать вас серьезно,— сказал Вольф.

— Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже нуля, вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда. Земля носится в межпланетном пространстве десять — пятнадцать миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми? Я утверждаю — Земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканем все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите: а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солицем земной корой и всей массой Земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый Оливиновый пояс. Он проходит от непрерывного *атомного распада* основной массы Земли. Эта основная масса представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем двести семьдесят три градуса ниже нуля. Продукты распада — Оливиновый пояс — не что иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы: оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по многим данным, не так глубоко: от пятнадцати до трех тысяч метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины Оливинового пояса...

— Логично, заманчиво, но невероятно,— после молчания проговорил Вольф.— Пробить современными орудиями шахту такой глубины — невозможно...

47

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Эн-рансикан».

— Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.

— Какое это имеет отношение к разрезанным

французам? — спросил профессор, опять раскуривая сигару.

— Убийство в Вилль Давре совершено тепловым лучом.

При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого, — вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством.

— Аппарат построен русским, я знаю этого человека, — ответил Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный преступник.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.

— Свидетельство налицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гарина.

Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплываются и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчертывания породы, можно пробраться глубоко... Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы, один удивительнее другого.

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гарин

скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль-Давре? — спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенебло» не может оказаться Гарином?

— Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?..

— Вот именно.

— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень неплохо.

— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу ты, черт! Хотя — правда. — Хлынов чисто по-российски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. — Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек, можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, чего вы только ни натворите...

— Германия никогда не примирится с унижением.

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся:

— А... Вы еще здесь?.. Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность

величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами,— сказал Вольф.

49

На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листвьев платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.

Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка¹, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды.

Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.

Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания:

— В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню.

— Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?

— Их лица — вся нижняя часть — были закрыты платками.

— Вы защищались также и тростью?

— Просто это был сучок,— я его подобрал в лесу.

— Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?

¹ Кармелиты — монашеский орден.

— Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился.

— Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?

— Значит, преступники приехали на автомобиле.

— Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?

— Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег с собой немного.

— Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба, на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?

— По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячевалютными билетами.

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

— Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России.

— Вы могли бы говорить со мною более откровенно?

— Нет. Это не моя тайна.

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность.

Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения в полудремоте.

...В полудремоте ему вспоминалось:

Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шепотом:

— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей, над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монрэз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же,— резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестели золотые зубы.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом:

— Если здесь готовится смертный приговор, я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо:

— Убить вас я мог бы и там...

— Выкуп? — быстро спросил Роллинг.

— Нет.

— Участие в ваших... — Роллинг мотнул щеками, — в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб... Я говорил вам...

— Хорошо, — ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемузель! — Роллинг подскочил, котелок съехал ему на нос, — мадемузель... Ваше поведение неслыханно... Предательство... Разврат...

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к черту! Говорите с Гарином.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две

головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях.

— Но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель,— долетел до Шельги резкий голос Роллинга.

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь дремоту пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике,— со шляпой на коленях,— сидел Хлынов.

51

— Не предугадал хода... Думать времени не было,— рассказывал ему Шельга,— сыграл такого дурака, что — ну.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга,— сказал Хлынов.

— Какой черт я взял... Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле,— ощетинился двумя кольтами. Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом Роллингу... Он струсиł, зашипел, наотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гарином свернули ему руки... Долго возиться было некогда, я вскочил за руль — и ходу...

— Когда вы были уже на полянке и они совещались около дуба, неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело — ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина, с десятью визами... Аппарат его,— рукой взять,— в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом,— я хорошо видел. После этого — слышу — он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня.

Я вполголоса говорю Зое: «Слушайте-ка, давеча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют, к утру вы все трое будете в стальных наручниках». Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя: «Хорошо, я приму это к сведению». А до чего красивы!.. Бесовка! Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарин — мне: «Товарищ Шельга, теперь — валяйте: полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором... Вот где моя ошибка. У них только и была эта одна минута... Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо, — завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только — мелькнула перекошенная морда Роллинга. Сукин сын! Четыре пули в меня запустил... Потом я открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает пресвой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришьет, конечно...

— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

52

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя

на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов,— они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстипалось над садом.

— А то предоставить их самим себе, пусть развернется во всем великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе,—проговорил Хлынов.—Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно.— Хлынов отвернулся от окна.— Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почтенно!.. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын большой суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах,— завертелся бы франт,— я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур... Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта... Но, вот беда,— эти постоянные кризисы и революции — это становится утомительным...» — «Ух, ты,— сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами,— а мне вот нравится ду-у-у-умать: я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг... Мне бы хотелось проткнуть им вселенную...»

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Про-

фессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля... Вы правы, нужно бороться... Что же,— я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР...

— Аппарат будет у нас,— закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагается.

— В каком направлении?

— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат,— тогда его взять будет очень трудно. Первое,— нужно узнать, где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе,— нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их машинации.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь...

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами... Она еще много крови прольет.

53

Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину,— горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.

Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах; ванная комната слегка покачивалась. Горничная

осторожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.

— Белье, мадам.

Зоя лениво поднялась, на нее надели почти не существующее белье. Она глядела мимо зеркала, за-ломив брови. Ее одели в белую юбку и белый, мор-ского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами,— как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.

— Гром, мадам?

— Вы с ума сошли,— ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.

Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и за-глядилась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде,— море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.

На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посередине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и начала завтракать.

Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец,— выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.

— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный,— косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена.

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь дождожить, курс — порд-вест-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался,— он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.

Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами,— оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов,— сказал он, не поднимая глаз.

— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть встать на внешнем рейде,— тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. Побледнев, он пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?

— Фу,— сказала Зоя,— такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов — и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу!

— Но, мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть устроить глупость.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.

— Есть посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если вы приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:

— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжалась челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если...

В это время на лакированной, сверкающей бронзово лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

54

Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.

Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки, — все мучительное темное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете...

«Я молода, молода, — так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра».

Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторки. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, —

сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:

— Идите.

Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна», — от нее неизъяснимое волнение.

55

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».

Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из черной пустоты трубы раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

— ...Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль... Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да, слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.

— ...Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посыпайте той же длины, как обычно... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы — безоблачный путь...

Зоя сняла наушные трубы. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое... Пойдет на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «...Будьте спокойны, счастливы — безоблачный путь».

После убийств в Вилль Давре и Фонтенебло и затем бешеной езды с Гарином по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце.

— ...Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точно огромная муха о стекло, звенел в паутинах голос Гарина. Он повторил ее имя и затем через некоторые промежутки:

— ...Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

— ...Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высоких растений, полетели волны женского голоса:

— Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:

— ...Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов... По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу...

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то,— в Европе, Азии, Африке,— нащупает волны электромагнитов «Аризона», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрепещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова спешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не называет.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него.

Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных волей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.

День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив,— висел над головой страшной угрозой. С Гарином, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупримился бы тогда,— лучше смерть, эшафот, чем союз,— но волю его сокрушила Зоя. Договариваясь с Гарином, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется... Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча... Это было черт знает что... Из-за распутной, продажной бабы... Но слезы были солоны и мучительны... Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, усвостить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гарином Роллинг немедленно начи-

нал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время,— как было условлено,— пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Вилье Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Роллинг или Москва» — все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва,— все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их пелено было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельнской газете. Роллинг в свою очередь помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Все внимание сосредоточьте на анилине...», «Дорог каждый день, не жалейте денег...» и так далее.

Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал...», «Место найдено...», «Приступаю...», «Непредвиденная задержка...»

Роллинг: «Тревожусь, назначьте день...»

Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...»

Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость,— его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои,— конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту «Аризоны».

57

Но на борту «Аризоны» происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно-расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гарином. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившуюся, стеклянноглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди Утиного Носа, сырую поляну в Фонтенебло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан. Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги... И она — повелительница этого фантастического мира...

Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гарином в Вилль Давре





(за час до убийства). Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина... С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.

Гарин отвечал:

«...Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое».

Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостице капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, — у перил над молочно-лазурной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжины шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками... Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги, — какое убожество... Возня в зловонной яме!

Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете паместницей бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством... Такая женищина, как вы, найдет применение сокровищам Оливинового пояса...»

Зоя думала:

«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться люди. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия... Отчего же,— пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно-прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек,— недурные эмоции».

Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда, Янсен.

Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумая, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания... Все, что может придумать женщина в такой знойный полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть бороться,— коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает «Аризона»?

— До сорока.

— Какие суда могут нагнать ее в открытом море?

— Очень немногие...

— Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.

— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?

— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие.

— Есть идти на опасное предприятие.

— Но, слышите, я уверена в победе...

Склянки пробили половину первого... Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.

Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.

...Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:

«...Если вам дорога жизнь... в пятницу высадитесь в Неаполе... в гостинице «Сплендида» ждите известий до полудня субботы».

Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четыреста двадцать один, то есть станции, которой все это время пользовался Гарин.

58

Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставен, была защелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой

стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал,—так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты,—весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)

Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полуоткрытая липой, к стене была прислонена лестница садовника, верхний конец ее торчал на поларии над осколками стекла.

Шельга сказал:

— Ловко, сволочи!

Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе,—сестра крепко прибинтовала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал и с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окно опять осталось открытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад, освещенный уличным фо-

парем,— лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню, в полуутьмеказалось, что на койке лежит человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало в тучах над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана.

Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился,— казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто? Нет, кто? — подумал он.— Неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья,— встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет,— подумал он,— надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фосгена...» На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы.

— Шельга, товарищ Шельга,— прошептала тень по-русски,— это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали нападения, я так и думал,— торопливо сказал он,— сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рисую черт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отдался от стены.

Гарин весело блеснул зубами, увидев все сице отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей-богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтепебло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне,— идем, дороги секунды...

Шельга проговорил, наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллингу везет как утопленнику, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду,— лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальный, что ли?.. Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем...

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация — все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили ваше посольство? Хорошо, хорошо... Посол потребует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится... Но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свидетеля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал — не поеду... Не хочу...

Гарин передохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания.— Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То есть как это — без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противогаза, поспешно приложил ее ко рту, и Шельга не успел крикнуть,— в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душистым, сладким дурманом...

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году.

- У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?
- Кое-что узнал... Будем говорить здесь?
- Хорошо, но только быстро.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножия конного памятника Генриху IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ордена Тамплиеров. Вдали, за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко, до самого министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склерозными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах... Когда-то это был их город... Вон там, черт возьми, в Консьержери ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюильри,— там были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи визжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь,— если уметь слушать,— расскажет о великом прошлом. И вот,— сам черт не поймет,— хозяином в этом городе оказался заморское чудовище, Роллинг,— теперь только и остается добруму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе! О-ля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская Анилиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский анилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца анилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенниг, а сегодня уже двадцатое... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.

— Где находятся заводы Анилиновой компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин, он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть — то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европу.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я насмотрелся... Буржуа — французы, немцы, англичане, итальянцы — преступно, слепо, цинично распродажают старый мир. Вот чем кончилась культура — аукционом... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо... К черту! Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе.

Хлынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел.

— В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих

проклятых заводов. В Анилиновой компании занято свыше пятидесяти тысяч человек... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н.?

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать.— Хлынов вынул из кармана газетные вырезки.— Третьего дня я был у Шельги... Он передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны сноситься между собой...

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно? Как вы думаете, Вольф?

— Ни в коем случае. Никаких письменных следов.

— Тогда — радио?

— Чтобы орать на всю Европу... Нет...

— Через третье лицо?

— Нет... Я понял,— сказал Вольф,— ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки...

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным:

«Все внимание сосредоточьте на анилине». «Приступаю». «Место найдено».

— «Место найдено», — прошептал Вольф, — это газета из К., городок близ Н. ... «Тревожусь, назначьте день», «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...» Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтеинебло — двадцать третьего прошлого месяца. Прибавьте тридцать пять, — будет двадцать восемь, — срок продажи акций анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибывает на третьи сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли виден свет?» Гарин отвечает: «Кругом пустынно. Расстояние пять километров».

— Иными словами, аппарат установлен в горах: ударить лучом за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно ма-

ло времени. Если взять пять километров за радиус,— в центре завода,— нам нужно обшарить местность не менее тридцати пяти километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы.

Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старишок с цыплячей шеей в запачканном пиджаке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы... Когда деньги в кармане, то и толкаются и бегают, как будто бы они дома... О-о... дикари!..

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова,— вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку; выпрямился, вышел из будки; лицо его было спокойно, но белое, как маска.

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Думаю, что он убит.

60

Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и скороков, с двумя каменными святыми по бокам,— на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутыль и полные стаканы вина.

Двое мужчин были одеты по-городскому,— один складистый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание,— генерал Субботин,— сидел в одной холщовой грязной рубаш-

ке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина.

Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил:

— Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница?..

— Три четверти часа на автомобиле, — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры (Гарин усмехнулся), что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества, — о чем говорить? — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза.

— Ах, вот что, — сказал Гарин, — виноват, господа, — задаточек...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячечфранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина.

— Пожалуйста...

Генерал крякнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали.

Гарин сказал, вставая:

— Введите пленника.

Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, дай знак, мигни,— от человека рожки да ножки останутся. Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей,— им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:

— Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.) Даю слово коммуниста,— убить вас при первой возможности, Гарин... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарин не дал ему договорить. Схватил за горло...

— Замолчи... иднот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю,— самое лучшее держать его в винном погребе,— пробасил генерал.— Увести пленника...

Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на Пятом авеню в Нью-Йорке.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота,— сказал генерал.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, получайте, ваше пре-восходительство...

Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике,— чем-то заинтересовался,— придинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Черт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

62

Шельга лежал на каменном полу на матраце. Керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите?

— Попытайтесь.

Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрац. Закурил. Лицо его казалось задумчивым и весь он — благожелательный, изящный...

«К чему, подлец, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли.

Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку.

— Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу... Может быть, из презрения к людям, но это неважно. Итак: Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только... Так же, как и я нужен Роллингу... Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость... Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное, вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него ни на грош

фантазии... Единственная стена, о которую он может расшибить башку,— это Советская Россия. Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество... Русским я себя не считаю (добавил он торопливо), я интернационалист..,

— Разумеется,— с презрительной усмешкой сказал Шельга.

— Наши взаимоотношения таковы: до некоторого времени мы работаем вместе...

— До двадцать восьмого...

Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу.

— Вы это высчитали? По газетам?

— Может быть...

— Хорошо... Пусть до двадцать восьмого. Затем неминуемо мы должны вгрызться друг другу в печеньку... Если одолеет Роллинг — Советской России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил:

— На кой черт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно...

— Давно бы так... А то — слово коммуниста... Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда... Но мы должны работать вместе... С вашей точки зрения, я — выродок, величайший индивидуалист... Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом,— не улыбайтесь, Шельга,— гениальным, да, да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально — противопоставляю себя человечеству.

— Ух ты,— сказал Шельга,— ну и сволочь...

— Именно: «Ух ты, сволочь», вы меня поняли. Я — сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь по-

кончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — там, в России, — воинствующая, материализованная идея. У меня нет никакой идеи, — сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку (подробно рассказывать не буду, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством, — сады Семирамиды и прочий восточный вздор — чахлая фантазишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас — опасность отдаленная и весьма фантастичная. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. Большего я не прошу.

— В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шельга.

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжать мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу никакой суммы!

— Ловко, — сказал Гарин и повертелся на туфяке. — А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел.) Не верите? Обману, не отдам? Нука, подумайте, — обману или нет? (Шельга дернулся плечом.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После двадцать восьмого во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рисковую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишки?

— Так, один беспризорный, — сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин

подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено двенадцатое число прошлого месяца, значит вы снимали мальчишку накануне отъезда?.. И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет,— сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил,— тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гребном клубе, что ли, снимали, на террасе? Узнаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив?

— Жив.

— Он нашел то, что они там искали?

— Кажется, нашел.

— Вот видите, я всегда верил в Манцева.

Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости и потому еще, что лганье считал дешевой игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гребном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева.

— Итак,— Гарин поднялся, весело потер руки,— если двадцать девятого ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами,— вы укажете любое место, где мы аппаратик припрячем до времени... Так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

— Добиваться моей смерти не будете?

— В ближайшее время — не буду.

— Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро,— поправляйтесь, пейте, кушайте вволю.

Гарин подмигнул и вышел.

— Ваше имя, фамилия?

— Ротмистр Кульевского полка Александр Иванович Волшин,— ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гарином.

— На какие средства существуете?

— Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, двадцать сут в день, харчи его: Был шофером, неплохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.

— Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны?

— Так точно.

— Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выедете в Ленинград... Там вот по этой фотографии отыщете одного мальчишку...

• • • • • : • • • • •

64

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские коляски в тень лип к речке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Громыхала на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старишок фонарщик, в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари.

Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали жив-

ность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь — несколько картофелин, пучочек лука, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия черт знает как раз-богатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось чело-веческой энергии...

И вот, все это напрасно. В кухоньках — пучочек лука на изразцовой доске, и у женщин давнишняя то-ска в голодных глазах.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы Анилиновой компа-ния. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к само-му городу.

— Там, я уверен,— сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате — если выбирать луч-ший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал толь-ко там.

— Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф...

— Ну что ж, с южной стороны не может быть ни-какой опасности,— слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к засиневшим на севере леси-стым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы прита-иться постройка,— дача или барак,— с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы, они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но ни-где ни малейшего присутствия Гарина. Встречные

крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа — только разводили руками:

— Во всей округе нет никого из приезжих, здешние все нам известны.

65

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного скелета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К прикованному скелету».

В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за двадцать пфеннигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочели и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, — предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К прикованному скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка, — глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, рас-

спрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалась, кроме развалин и ресторана, еще и вилла разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

66

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг, остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревьями и путаницей ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках, — «Башня пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел «Прикованный скелет».

Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав, — сказал Вольф, — только с этого пла-то можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья, там, за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу — из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство анилина и всех этих дьявольских

веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не выдумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

67

В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К прикованному скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет.

— Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Доброе утро, господа! — И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой: — Двадцать лет я наблюдало... Дело идет к концу, — вот что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец.) Это были зигфриды — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие

ужас, в шлемах с крыльшками. Обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щитов,— вы помните старый германский обычай: издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях, у их очагов...

Хозяин выпущенными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками.

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета — просто скелета и германца с крыльшками, скелета и воина четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину,— сказал хозяин с презрительной гордостью,— дешевле никто не прощаст, это добрая довоенная работа,— цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуза, эти пяты с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут!.. Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, да, приходится изворачиваться... Я покажу вам мой патент... Гостиница «К прикованному скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в

виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах.— Он живо приладил провод и слуховые трубы, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом.— Стоит три марки семьдесят пять пфеннигов, без слуховых трубок, разумеется.— Он протянул наушники Хлынову.— Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кельнским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... Поверните рычажок налево... В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый Штуфер? Нет?

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуфер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку:

— Вольф, — платите и идемте.

Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа:

— Я слышал, я узнал голос Гарина...

68

В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, и, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы про-
били семь. Почти тотчас же послышался шум подъе-
хавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь
пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы
оскалены, кожаный картуз на затылке:

— Опять всю ночь пьянствовали?

Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему
нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял
на летние месяцы виллу вместе с винным погребом,
предоставив Штуферу расправляться самому со ста-
рыми рейнскими, французским шампанским и ликера-
ми. Чем он занимался, черт его знает, видимо спеку-
ляцией, но он ругательски ругал американцев, разор-
ивших Штуфера два года тому назад, он презирал
правительство и называл людей вообще сволочью,—
это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле та-
кую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не
позволял себе и думать намазывать столовой ложкой
драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру,
любительские камамбера, кишащие сверху белыми
червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты
входило непрерывно держать Штуфера мертвцки
пьяным.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились,—
прохрипел Штуфер.

— Премило провел время с девочками в Кельне и,
видите, свеж и не сижу в подштанниках. Вы падаете,
Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем при-
ятной вещи... Оказывается, ваша вилла стоит слишком
близко к химическим заводам... Как на пороховом
погребе...

— Вздор,— заорал Штуфер,— опять какая-то сво-
лочь подкапывается... На моей вилле вы в полнейшей
безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где
стоял небольшой застекленный сарай под мачтами
антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли ке-
рамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин
отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна.
Облокотился на подоконник и так стоял некоторое
время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двад-
цать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела

с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппараты. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, затянулся сигарой и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя...» Закрыл глаза. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антennы.

Проезжай сейчас артиллерийский обоз — Гарин, наверное, не рассышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос. Затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

69

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука.

— Все?

— Так точно, все.

— Запишите, — стал диктовать Роллинг: — Немедленно настроить отправную станцию на длину волн четыреста двадцать один. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя... Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остано-

витесь в гостинице «Сплендида», ждите известий до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли, непрерывно громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил.

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского,— сказал он вскочившему в кабинет секретарю.— Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Найдите пилота и бортмеханика. К двадцать восьмому приготовьте все к отлету...

70

Весь оставшийся день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат,— арест был безопасен: их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянувшись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, спел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона, и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось.

— Пойдем,— прошептал Хлынов,— нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не мог промахнуться.

Они пошли к крыльцу. На полдороге Хлынов проговорил негромко:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, взглядываясь в две нейсные фигуры.

— Ну, нет,— протянул он,— собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного скелета»... Разрешите отдохнуть.

Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени,— оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.

— Между прочим,— сказал он,— когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил находов иочных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку,— молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проездной дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват...

Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать «неприятное» — слишком сильно, но — смешное. Не далее как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям.

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.

— В конце концов какое мне дело, живет он здесь или пьяствует с девочками в Кельне? Он заплатил все до последнего пфеннига... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свиданья, до свиданья... Что ж — скатертью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов.

Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась,— масленистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.

— Так и есть, он меня предупредил: непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья,— пожалуйста, убедитесь... Это ваше право,— за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать,— ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, как у него разлетелся череп...

71

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Прекрасно,— мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же пятьдесят процентов за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти пятьдесят процентов. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию

заводов. Разумеется, ну, разумеется,— никто не верит... Вот даже вы...

Посол, не поднимая глаз, промолчал.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считают сумасшедшими.

Хлынов сжал голову,— нечесаные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно, из-за края очков, взглянул на него:

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— У нас не было фактов... Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается,— проснусь — и вздохну облегченно... Но уверяю вас — я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать.

После молчания посол сказал серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего вы поддались навязчивой идее,— он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова,— но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

72

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, одни с недоумением, другие с некоторым страхом, обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках.

«Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы — никто не пожелал взять нашему отчаянному призыву. Сегодня,— мы в этом уверены,— заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими банкирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя бога».

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупрежде-

ния — ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах.

«Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены, и с ними поступят по закону».

Власти попали в точку, пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались: «А ловко было придумано,— похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам,— ха-ха. А мы-то, дураки, всю бы ночь тряслись от страха на равнине».

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграла «Вахт ам Рейн», на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатай не спеша моили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К прикованному скелету»,— походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по мало-проезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние,— всходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь.

Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню,— ни-где ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте,— сказал Хлынов,— если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается

почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил:

— Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности, слишком еще тяготеют над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная весть — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков. Их тянет стать на четвереньки.

— Ну что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал.— Вольф сидел на куче камней, подпирев кулаками крепкий подбородок.— Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними. Ах, какой же я дурак! И они правы,— вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Черт!.. Если бы я не промахнулся... Я готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих,— совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье,— в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного скелета», лежал осколок колонны из песчаника, Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы,— сказал Вольф.

— Нет, скорее всего это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводя-

щей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум,— будто что-то упало и покатилось. Вольф весь затрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю»,— кротко и нежно то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

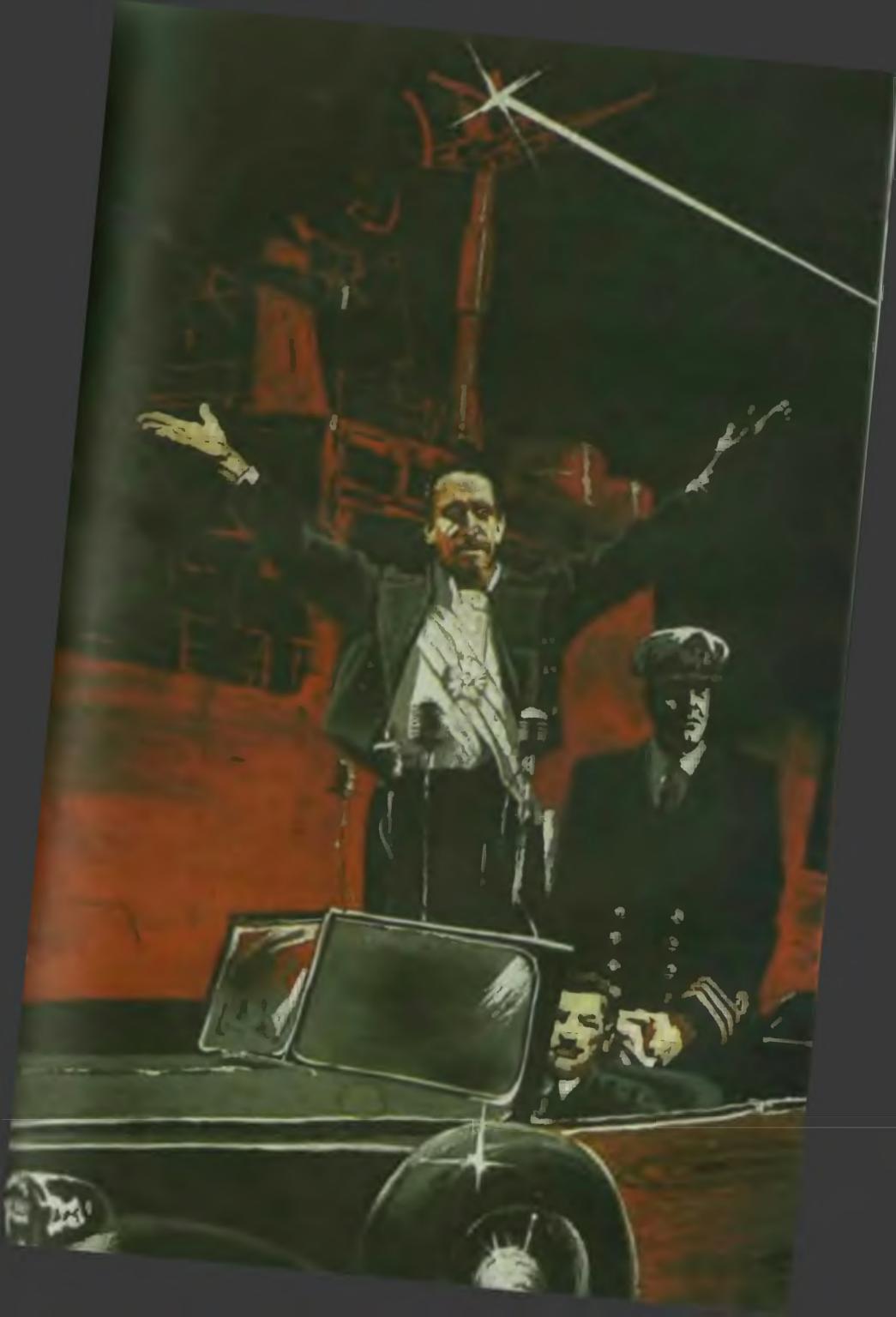
На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь. ..

73

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эbonита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл Штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей.

«Кто — Роллинг или Шельга?» Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кельп. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга... Но все-таки, ай-ай — прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок» — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по два с половиной в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком «Прикованного скелета».





Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны!), не страх (он был слишком легкомыслен), не жалость к обреченным (они были слишком далеко) обдавали его озабоченом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки: «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это — сумасшествие...»

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.

74

Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вот еще один, — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать...

— Это горят птицы, — прошептал Вольф, — смотрите. — Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козодой.

кричавший давеча: «Сплю-сплю». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко,— большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается! — крикнул Вольф. И не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе,— она заколебалась, надломилась посередине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще...

Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извилающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались,— один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от

черных точек. Это спасалось население,— люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспушилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину.

Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

75

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смуглоп-красных матроса соскользнули по канату на банки. Подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила,— все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море — зеркально.

Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный, в заплатках, темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сумка.

Это был известный всему свету Пеппо, нищий.

Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к «Аризоне». Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта «Аризоны», поднял великолепное, как медаль, морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски:

— Пеппо, отгадай, — чет или нечет?

— Чет, синьора.

Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная синьора, — величественно сказал Пеппо.

Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет», — все будет хорошо.

Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Сплендида» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было.

Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Санта Лючия полетела навстречу, — дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улички ступенями в гору, полуоголые ребятишки, женщины у дверей, рыжие козы, устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети, раскинутые на граните.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной,

сверху, по ступеням, полетела куча оборванцев, про-
давцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Разма-
хивая бичами, орали парные извозчики, полуугольные
мальчишки кувыркались под ногами, завывая, проси-
ли сольди у прекрасной форестьеры.

— «Спленди», — сказала Зоя, садясь вместе с
Янсеном в коляску.

76

У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспон-
денции на имя мадам Ламоль? Ей подали радиотеле-
фонограмму без подписи: «Ждите до вечера субботы».
Зоя покала плечами, заказала комнаты и поехала с
Янсеном осматривать город. Янсен предложил —
музей.

Зоя скользила скучающим взором по застывшим
навеки красавицам Возрождения, — они навьючивали
на себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, ви-
димо, не каждый день брали ванну и гордились таки-
ми мощными плечами и бедрами, которых бы посты-
дилась любая рыночная торговка в Париже. Еще
скучнее было смотреть на мраморные головы импера-
торов, на лица позеленевшей бронзы — лежать бы им
в земле... на детскую порнографию помпейских фре-
сок... Нет, у древнего Рима и у Возрождения был
дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. До-
вольствовались разведенным вином, неторопливо це-
ловались с пышными и добродетельными женщинами,
гордились мускулами и храбростью. Они с уважением
воловчили за собой прожитые века. Они не знали, что
такое делать двести километров в час на гоночной
машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов,
электричества, телефонов, радио, лифтов, модных
портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по
чеку вы получаете золота столько, сколько не стоил
весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты
жизни до последней капли все наслаждения.

— Янсен, — сказала Зоя. (Капитан шел на пол-
шага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом,
выглаженный и готовый на любую глупость.) — Янсен,
мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее «бешено» обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый... А умна... А шикарна...

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью — на яхте или в гостинице?

Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

77

Зоя опьянила от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какие-нибудь новости?

— О, никаких, синьора.

Зоя сказала Янсену:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать, — я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил, — так велела она. Откинувшись, — представляя:

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый суконный плащ... Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится, — таковы женщины... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столи-

ке... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...

Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка... А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен,— проговорил Роллинг скрипучим голосом,— благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть,— одними губами произнес Янсен.

Роллинг сильно изменился за этот месяц,— лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками... «Левой в висок,— правой наискось, в скулу, и — дух вон из жабы...» — железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на «Аризоне»,— нахмурясь, повелительно сказал Роллинг.

Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика: «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него: «Что, надавали по щекам!» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку: «Греби, собачьи дети». Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: «Хлев на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку: Он тихо рычал.

Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх!

Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару,— маленький, сухопутный, в теплом темном

костюме, оскорбляющем изящество «Аризоны» и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой,— понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу,— сказал Роллинг,— это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может, весь завтрашний день... Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.) Э, так вот... вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... Или она ждет его? Нет,— а свежие царапины на руке хозяина... Что-то случилось... А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются.

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах Анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Помощник капитана говорил:

— Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. Пью за хозяина.

Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице — фотография «Аризоны» и в овале — прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе, в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его с ушедшей в плечи головой казался неживым, — он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

78

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефон и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, — крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел, — Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему.

— Все равно, — сказала Зоя, — так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги.

— Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народа.

— Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смироно.

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он прорвичал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленная красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое, придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза.

Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку.

— Устала, пусть будет что будет, — проговорила она тихо и опять зевнула.

Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, — привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя вывела от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ, — тугой замок неожиданно заскрипел.

Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихи-

вая ее ногой в глубь комнаты, силился закрыть дверь. Но — что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом.

Но его ступни продолжали скользить по паркету, — дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар, — тяжестью корпуса на вытянутую левую — в переносицу — и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсен, как можно скорее, — на яхту.

— Есть на яхту.

Она засинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди.

— Есть самое опасное впереди.

79

— Извозчик, гони, гони вовсю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ...

— Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и — передо

мной Роллинг... Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он здесь, значит для него действительно вопрос жизни или смерти... Теперь я поняла, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку... Я ему наговорила черт знает что... Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура!.. А все эти танцы, вино, глупости... Да, да, милый друг, когда хочешь бороться — глупости нужно оставить... Через две-три минуты он вернулся. Я говорю: объяснимся... Он,— наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу...» Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина,— с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус!.. Снес четыре оплеухи... Стоял с трясущимися губами... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодяй, негодяй!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга идиосинкразия к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка,— тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастье... Если вы мне не поможете, все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок из черно-маслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Аризоны».

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел.

Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом,— несколько более вежливо, чем вахтенному.

Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь ему было все равно. К тому же, наверно, на будущий сезон в Париже будет в моде — крутить пуговицы. Портные придумают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза,— спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море, если человек утонул, значит — утонул?

— Бывает,— неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность — все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа.

Роллинг дернул плечом.

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.

В девятом часу к «Аризоне» подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул:

— Алло... Яхта «Аризона»?

— Предположим, что так,— ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт.

— Имеется на вашей посудине некий Роллинг?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи.

Он ловко бросил на палубу письмо, матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком:

— Матрос, соленые глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна.

— Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла:

«Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев, за ваши интересы, но случилось невозможное: мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим...»

Не дочитав, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему руку.) Янсен, милый, нам нужно условиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую,— с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение. Это стихия. Я так же свободна отдавать себя, как и вы брать,— запомните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над миром. (У Янсена поджались губы, Зое понравилось это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка,— понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. (Она опидала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, должен сейчас прибыть на «Аризону». Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторки. Янсен вышел на мостики. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его, с криво и плотно

сложенным ртом, было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он,— с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем,— вон в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсену давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке.

82

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной ширазским ковром, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы.

Оборвав пуговицы, он принял грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса.

Тяжелая лодка ударила о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести?» — Это грузили ящики с гиперболоидами. Затем все утихло.

Гарин попался в ловушку. Наконец-то! Роллинг взялся холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда! Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи и именно так, беззвучно.

Затем по телефону он вызвал Янсена:

— Взяли на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и заприте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума.

— Есть,— бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу «Аризоны».

Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, непременного посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Даже невероятная удача — гибель заводов Анилиновой компании — прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему двадцать девятого биржи всего мира.

В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гарином никто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор. Отворил дверь на нижнюю палубу, — там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отоспал их в кубрик.

Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери, в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны, давно он не ощущал такого удовлетворения.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в коридор. Он задохнулся, мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И, что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накрытый за подчищиванием бух-

галтерской книги (был с ним такой случай лет двадцать пять назад).

— Добрый день, Роллинг,— сказал Гарин, вставая,— вот и я, дружище.

83

Произошло самое страшное — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? — Еще хуже, еще глупее... Капитан Янсен предал его, — ясно. Команда не надежна... Яхта в открытом море. Усилием воли (у него даже скрипнуло что-то внутри) Роллинг согнал с лица проклятую улыбку.

— А! — Он поднял руку и помотал ею, приветствуя: — А, Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Будем веселиться...

Зоя сказала резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои, — смертельный враги. Сами виноваты, что подготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг оловянными глазами взглянул на нее.

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы.

И он сел к столу, точно на королевский трон, — между Зоей и Гарином. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание. Он сказал:

— Хорошо, я проиграл игру. Сколько я должен платить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было условлено в Фонтенебло. Вот и свидетель. — Он махнул бородкой в сторону Шельги, мрачно барабанящего ногтями по столу. — В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз — миллиард в долларах, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертовы деньги в Европе.

— Миллиард будет трудно выплатить сразу, —

ответил Роллинг.— Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же я выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить большую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай,— сказал Гарин,— но вы-то, старина, получите свободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бес tactности:

— Я должен понять так, что вы меня намерены задержать на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприкосновен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки.

— Тем лучше! — крикнула Зоя гневно и страстно.— Чем скорее, тем лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против нас. Тем лучше!

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговицами, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои и кулаки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня,— Роллинг всем телом повернулся к ней,— вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше.

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным ртом. Весь он казался фатоватым, несерьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка, преступную волю.

— Во-первых,— сказал он и поднялся на носки,— мы не питаем исключительной вражды именно к Аме-

рике. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который попытается выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых,— он перешел с носков на каблуки,— мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее,— тогда мы оставим их в покое, по крайней мере в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он пошлепал Роллинга по плечу.

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватило, а все оттого, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздевать биржевиков да скучать заводы... Старинушка-матушка... А настоящего человека — прозевали... Настоящего организатора ваших дурацких миллиардов.

Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принял так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин повернулся на каблуках и опять — Роллингу:

— Нет, старина, у вас плохо стал варить котелок. Я — не анархист... Я тот самый великий организатор, которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем... Об этом поговорим на досуге. Пишите чек... И полным ходом — в Марсель.

84

В ближайшие дни произошло следующее: «Аризона» бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин предъявил в банке Лионского кредита чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На «Аризоне» было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток «Аризона» грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к «шикарной кокотке» пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на «Аризону».

Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулены, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа.

Роллинг, закрыв устало глаза, покачал головой. Покончили на том, что Лионский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные — во франках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен.

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайно опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, акульи дети... Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизнен-

ная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Не желающие рисковать могут уносить свои подошвы.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодиями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии.) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. «Аризона» взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Анилин Роллинг» — Мак Линнея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто.

Затем «Аризона» стала крейсировать в пустынном Карибском море. Гарин разъезжал по Америке по заводам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал среди остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полицейской службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели анилиновых заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. «Анилин Роллинг» — значилось на всех фабриках. Это было клеймо — желтый круг с тремя черными полосками и

надписью: наверху — «Мир», внизу — «Анилин Роллинг Компани». Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван этим желтым кружочком. Так «Анилин Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой компании.

Колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кружков и кружочков — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Анилин Роллинг». Директора «Анилин Роллинг» вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей.

Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября «Аризона» опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли десять груженых кораблей с запечатанными приказами.

Океан был неспокоен. «Аризона» шла под парусами. Были поставлены гроты и кливера,— все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты,— скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами,— то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену.

Тент был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, подложенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали «Аризоне» странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих — кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом.

— Вот океан,— сказал Гарин,— и ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и воли... Летим, товарищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие... Глядите — горы.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. «Аризона» ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, выносся кораблик из бездны. И он, совсем ложясь, показывая красное днище до киля, наискось, по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба, и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

«Аризона» выпрямилась, вода склынула с палубы, кливера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане... Я вот страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?.. У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим — влюбленным в себя до восторга... Пусть упивается, — сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга: лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка, — тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал, — не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явясь Гарин один в Неаполе на «Аризону», могли случиться неожиданные неприятности. Но устраниТЬ сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Карибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался. Прислушивался. И ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак — чех (помощник Гарина), щупленький, взъерошенный, болезненный человек, с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник — химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, — во фраках, с бутоньерками в петлицах, — Шельга, как и все, — во фраке, с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом.

Сосед справа однажды пустил в него четыре пули,

сосед слева — убийца трех тысяч человек, напротив — красавица, какой еще не видал свет.

После ужина Шефер садился за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки:

— У меня к вам предложение, Шельга.

— Ну?

— Помните, мы условились играть честную партию?

— Так.

— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе — и череп вдребезги.

— Ничего не знаю...

Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой.

— Я ни при чем. А жаль, что промахнулся...

— Значит — судьба?

— Да, судьба.

— Шельга, предлагаю вам на выбор, — глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо сразу стало злым, — либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... либо я вас вышвырну за борт. Поняли?

— Понял.

— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю, — это вам.

Он не договорил, гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его

выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот.

86

Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай. Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту.

Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его на смешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли, или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока «Аризоны» от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле...

Гарин сильно изменился после Ленинграда,— весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты.

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил его Шельга.— Или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Простое проявление человечности — и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая... Чувство симпатии к вам... Человечность...

— Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности.

— Нет! — крикнул Гарин. — Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Что это за полочки: на этой полочке — хорошее, на этой — плохое... Я понимаю, дегустатор: пробует, плюет, жует корочку, — это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле Советской власти, — хорошо, — проговорил Шельга, — все, что мешает, — плохо.

— Превосходно, чудно, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской республикой? Экономически? Вздор... Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет, — спокойно сказал Шельга.

— То-то что нет... Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью: словом, материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть... Расчищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого!

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи — мысли, — материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... Ну? Вот — то-то...

Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились.

— Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всей полнотой власти на земле... Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено, — вплоть до права дышать, — центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в

веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу», — скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, — очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К черту! — скорее чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, довольно любопытно, — сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали?

— Не утопия,— вот в чем весь курьез. Я только логичен... Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное... Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове... Увидите, что я не шучу...

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. И одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь Оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет¹. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война — страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем — отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить, как боги, а трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко? А? Не нравится?

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами, Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты: вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем. Людьми без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить роллингов... Кстати, предупреждаю, бойтесь Роллинга, он упрям и если решил вас убить,— убьет.

¹ Постоянная стоимость золота во всем мире. Задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью.

— Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам.

— Мне нужен заложник.. Но во всяком случае он-то не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышенны, только. Ну, одевайтесь, идём ужинать.

87

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты; перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху — в бочке — матрос крикнул: «Земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли «Аризону» полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать!..

88

В далеких перспективах Васильевского острова пыпал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленин-

град и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей красной, с белыми колонками таможни. Началась обычная суэта досмотра.

Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозящий на морском рубеже России.

Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал».

Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости.

В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз.

Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянулся спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то высокий человек в парусиновой блузке медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки», и вдруг спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.

Иван Гусев жил у Таращина, был ему не то сыном, не то младшим братом. Таращин учил его грамоте и уму-разуму.

Мальчишка оказался до того понятливый, упорный,— сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, Таращин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллектику клуба обещание не курить,— крякнет, взъерошит волосы и начинает разговор:

— Знаешь, что такое капитализм?

— Нет, Василий Иванович, не знаю.

— Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет, они голодают, он лопается от жира. Это — капитализм. Понял?

— Нет, Василий Иванович, не понял.

— Чего ты не понял?

— Зачем они ему дают?

— Он заставляет, он эксплуататор...

— Как заставляет? Их девять, он один...

— Он вооружен, они безоружные...

— Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это, значит, они нерасторопные...

Таращин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана.

— Правильно, брат... Рассуждаешь по-большевистски... Мы в Советской России так и сделали — оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все десять человек работают и все сытые...

— Все от жира лопаемся...

— Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию.

— Это чего это?

— А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете... Понятно? Теперь давай арифметику...

— Есть арифметику,— говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.

— Нельзя муслить чернильный карандаш,— это некультурно... Понятно?

Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза.

90

У калитки гребного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев.

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным у Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо.

— Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо.

— Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо...

Тарашкин наказал Ивану посыпать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду,— едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно — скука заедает: Артур Артурович целый день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, паверно приедет, ждите».

Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке (в свое время это стоило Гарину немало хлопот), — сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из полпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор — сопок по местному названию.

В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию, и двадцать восьмого сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы.

Экспедицию вел Иван, — у мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился:

трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали: Артур Леви был неумолим,— он не щадил никого, но хорошо платил.

Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров, иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с выюками утонули в трясине зыбучего болота.

Иван обычно шел впереди, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке:

— Вот он! Артур Артурович, вот он!..

На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне, полуистертное временем изображение воина в конусообразной шапке, со стрелой и луком в руках...

— Отсюда теперь на восток, прямо по стреле до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь! — кричал Иван.

Здесь стали привалом. Перепаковали выюки. Зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдаленные глухие взрывы, вздрогивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор и их мрачный отсвет мигал под тучами...

Чуть свет Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. «Вперед, вперед!..» Измученные люди побрали через непролазный лес, зاغроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов,— и хоть убивай на месте — никто не сдвинется с места...

По ветру донесся звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вот он, Шайтан-камень...

Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из

земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливавшем силы. Это была та самая «живая вода», которую в сказках приносил ворон,— вода, богатая радиоактивными солями.

93

Весь этот день дул северный ветер, ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем стущенее, страшнее дышал север с беспробесветного неба.

Казалось, ничего, кроме важного шума вершин да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами не чесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка... Фють...

Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла: убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может даже до весны.

Семь лет тому назад он искал применения своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего

перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса.

Люди, с которыми он пришел сюда, — одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет, все удивительные выводы — исследования глубоких слоев земли — Оливинового пояса — должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка — козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его, проклятого, ни зови.

Прежде шуткой бы показалось — пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел, — старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки.

Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима — смерть. Сжималось сердце... Невужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал.

Долго спустя еще раз позвал:

— Машка, Машка...

Нет, сегодня не убить... Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился. Поднял голову, — снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду... Ему показалось... Нет, нет, — это ветер, должно быть, заскрипел сосновой о соснушке... Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце...

— Э-э-э-эй, — слабо долетел человеческий голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза застлало слезами... В разинутый рот било крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне...

— Э-э-э-эй, Манцев,— снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из буряна поднялась козлиная голова,— Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню... Справа, слева приближались, звали.

— Э-эй... Где вы там, Манцев? Живы?

У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев.

• • • • • • • • • • •

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пыпал огонь, в котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала.

Входили и выходили громкогласные люди, внося и распаковывая выюки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба... Хлеб. Манцев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится: не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище.

— Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли?

— Нет, нет, я отвык от людей,— бормотал Манцев,— я очень давно не ел хлеба.

— Я же Иван Гусев... Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать.

Манцев ничего не помнил, только таращился на озаренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с теленка, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо; питался кедровыми орехами, разыскивая их в белых гнездах; в Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку; приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясясь под вагонами в угольных ящиках.

— Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» — «Даю». А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против Советской власти. Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитывайте, я — пионер.

Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы, хриплым шепотом:

— Кто эти люди?

— Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобывести ее сюда, за вами...

Манцев больно схватил его за плечо:

— Ты видел Гарина?

— Николай Христофорович, бросьте запугивать, у меня теперь за плечами Советская власть... Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки... Гарин мне ни к чему.

— Зачем они здесь? Что они от меня хотят?.. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу.

Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Леви.

— Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте... Времени у нас будет много, раньше ноября вас отсюда не увезем...

Манцев слез с нар, руки его тряслись...

— Я хочу с вами говорить с глазу на глаз.

Он проковылял к двери, сколоченной из нетесанных, наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег.

— В моей винтовке последний заряд... Я вас убью! Вы пришли меня ограбить! — закричал Манцев, трясясь от злобы.

— Пойдемте, станем за ветром.— Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене.— Перестаньте бесноваться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин.

Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его, с вывороченными веками, тряслось, беззубый рот всхлипывал:

— Гарин жив?.. Он не забыл меня? Вместе голодали, вместе строили великие планы... Но все это

чепуха, бредни... Что я здесь открыл?.. Я прощупал земную кору... Я подтвердил все мои теоретические предположения... Я не ждал таких блестящих выводов... Оливин здесь,— Манцев затопал мокрыми пимами,— ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве... Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро... Там черт знает что делается... Я перевернул мировую науку... Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов,— что бы мы натворили!..

— Гарин располагает миллиардами, о Гарине кричат газеты всего мира,— сказал Леви,— ему удалось построить гиперболоид, он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту.

Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову.

— Гарин, Гарин,— повторил он с душераздирающей укоризной.— Я дал ему идею гиперболоида. Я навел его на мысль об Оливиновом пояссе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге. Что теперь я возьму от жизни? — постель, врача, манную кашу... Гарин, Гарин... Пожиратель чужих идей!..

Манцев поднял лицо к бушующей непогоде:

— Цинга съела мои зубы, лишила источили мою кожу, я почти слеп, мой мозг отупел... Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин...

94

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под сто тридцатым градусом западной долготы и двадцать четвертым градусом южной широты, остров площадью в пятьдесят пять квадратных километров, с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права.

Впечатление получилось смехотворное. Островище в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже про-

изошла путаница — кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? Но с американцами долго спорить не приходилось, — поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов.

Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гарриным был сочинен фокстрот «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать, — увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному... И так далее. Словом, все это были шуточки.

Дней через десять пришло радио с крейсера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего высаживаю десант».

Это было уже забавно, — бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам... Но ни назавтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало.

На последний запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри не кто иной, как известный русский авантюрист инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилль-Давре, близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, до-

ставившей на остров Гарина, находился не кто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анн-лин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Мак Линней молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содергится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер, — он исчез. И, ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва ацетиленовых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, и, ко всему, это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие: таинственный дирижабль, новейшего типа, пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы П и Г.

Тогда всем стало ясно: Гарин московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата ветировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров вышел к «острову Негодяев», как его теперь называли в американских газетах.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиограмму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Алло! Говорит станция Золотого острова, именуемого по неосведомленности островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри будет обороныться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени».

95

Плотина в овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова: готова ли причальная мачта?

Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарина: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» — прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой.

В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа: очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху двадцатипятиметровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю.

Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах. Или, отвязав козла Машку, говорил Ивану:

— Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел.

Держа козла Машку за веревку (козел помогал

ему взбираться на скалы), Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана.

Мачтовый лес кончился, выше — между каменными глыбами — рос корявый кустарник, еще выше — только черные камни, покрытые лишайми и кое-где снегом.

Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз — в тихий солнечный день — им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыжемедное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне на поверхности лавы возвышался конус, вершина его курилась беловатым дымом.

— Там, — сказал Манцев, указывая скрюченными пальцами на курящийся конус, — там — свищ или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек... Я бросал туда пироксилиновые шашки, — когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и высчитывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через газ лучи разлагал на призме спектроскопа... В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов... Тебе понятно, Иван?

— Понятно, валяйте дальше...

— Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка... Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он плевал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газу в реторту... Когда я спустился вниз, к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камни величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп... Иван и ты, Машка, слушайте...

Глаза у Манцева блестели, беззубый рот кривился:

— Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов

в колбе началось его распадение,— колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, пронзительно красным... Из предосторожности я отошел,— раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту... Я назвал этот таинственный металл буквой *M*, так как мое имя начинается на *M* и имя этого козла тоже начинается на *M*. Честь открытия принадлежит нам обоим — козлу и мне... Ты понимаешь что-нибудь?

— Валяйте дальше, Николай Христофорович...

— Металл *M* находится в самых глубоких слоях Оливинового пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла... Я утверждаю дальше: ядро земли состоит из металла *M*. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл *M* вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся.

— Идем заглянем...

Они, втроем, спустились со скалистого гребня на металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна.

— Машку надо оставить внизу,— сказал Манцев, щелкнув козла в нос, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебень.

— Ложись на живот и гляди.

Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относило клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление и посреди него — овальная дыра метров семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекатывались камни.

Присмотревшись, Иван различил красноватый свет, он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче,— становился малиновым, пронзительным... Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать каменья.

— Начинается прилив, надо уходить,— проговорил Манцев.— Этот свет идет из глубины семи тысяч

метров. Там распадается металл *M*, там кипят и испаряются золото и ртуть...

Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь, как пар из лопнувшего котла, ослепительно алый свет бил из бездны, окрашивая низкие облака...

Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника.

— Бегом, бегом, ребята!.. Сейчас полетят камни...

Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру,— вулкан выстрелил каменной глыбой... Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку...

96

Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра.

Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай.

Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей.

Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума...

— Слушайте, Артур Артурович, или как вас там... Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно... Я улечу, они останутся здесь,— их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой...

— Успокойтесь, Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми.

— Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы... А мне нужна моя жизнь... Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино... Я вставлю зубы и буду жевать трюфели... Я тоже хочу славы! Я ее заслужил!.. Черт вас всех возьми вместе с Гариным...

— Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски...

— Бросьте. Я знаю Гарина... Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной... Без меня из него получился бы просто мелкий жулик... Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.

Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо:

— Николай Христофорович, плюнь на них. Поехдем лучше в Ленинград... Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить... Зубы вставим... Найдем хорошую жилплощадь,— чего вам связываться с буржуями...

— Нет, Ванька, я погибший человек, у меня слишком необузданые желания,— отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха.— Семь лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия... Я не хочу ждать больше ни одного дня...

Иван Гусев давно понял, какова была эта «французская экспедиция»,— он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы.

За Манцевым он теперь ходил, как привязанный, и эту последнюю ночь не спал: когда начинали сплывать глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя где больнее.

На рассвете Артур Леви, ссердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию — она помещалась рядом в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся,— все ли спят,— осторожно слез с нар, проbralся в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели,— он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол.

Иван догадался, на что он смотрит,— в углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката,— мох был содран. Это и беспокоило Манцева... Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель.

Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрыл с головой одеялом и сейчас же заснул...

.....

Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованный носом к причальной мачте. Мачта гнулась и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта.

Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоявшему внизу Артуру Леви:

— Алло! Артур Артурович, какого черта! Нужно сниматься... Люди выбились из сил.

Леви ответил сквозь зубы:

— Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привезти во что бы то ни стало.

— Мачта не выдержит...

Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке. Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. (Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что если не получат вдоволь продовольствия и наградных, распорют дирижаблю брюхо пироксилиновой шашкой.) Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой:

— Неважно.

Но дело обернулось гораздо серьезнее.

Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда донесся его отчаянный вопль. Манцев, как бешеный, выскочил из облаков снега, размахивая руками:

— Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги?.. Ты, ты украл, подлец!

Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой,— у того слетела шапка...

Было ясно: бесценные формулы, то, за чем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел:

— Мои бумаги! Мои формулы! Человеческий мозг не в силах снова создать это!.. Что я передам Гарину? Я все забыл!..

Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись.

— Там такое крутит — шагу не ступить...

— Куда вы дели Манцева? — закричал Леви.

— Кто его знает... Отбился...

— Найдите Манцева. Найдите мальчишку... За этого и другого по десяти тысяч золотом.

Тучи мрачнели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться — перерезать причал и улететь к черту.

Наконец со стороны Шайтан-камня показался высокий человек в забитой снегом дохе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубенку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестянную коробку с драгоценными формулами Манцева.

— Живой, живой, только застыл маленько, — проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду. — Отойдет. Наверх его, что ли? — И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу.

— Ну, что? — крикнул сверху капитан. — Летим? Артур Леви нерешительно взглянул на него.

— Вы готовы к отлету?

— Есть, — ответил капитан.

Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камня, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов главное — формулы были бы на борту.

— Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку. — Ребята, отдавай концы...

Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверху причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя, моторы. Закрутились винты.

В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскоцил Манцев. Ветер дыбом вздымал его во-

лсы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля...

— Стойте!.. Стойте!.. — хрюплю вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже за метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнулся ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх — в крутящиеся снежные облака.

Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало... Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развевающиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сорвался и упал, — этого уже не видели стоявшие внизу люди.

97

Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстипался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист.

Здесь в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре, — они походили на жуков, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог, — они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккано: фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек.

В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты.

День и ночь — в шесть смен — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом, — здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений.

Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья.

С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

98

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы Эфесской¹, сады Семирамиды² и медного колосса³ в Родосе. Об осталь-

¹ Знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны в городе Эфесе, сожженнный в 356 году до нашего летоисчисления.

² Семирамида — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон.

³ Колoss Родосский — исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса.

ных воспоминание погружено на дно Атлантического океана.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал:

— За чудо, за гений, за дерзость!

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, волят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин.

В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись:

«В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период и с чрезвычайной быстрой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков,— земной шар представляет следующую картину:

Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от пяти до двадцати пяти километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности (уголь) и погибших животных (нефть). Кора лежит на второй оболочке земного шара,— из расплавленных металлов,— на Оливиновом поясе.

Расплавленный Оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли, до глубины пяти километров.

Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше ста километров

и увеличивается на километр в каждые сто тысяч лет.

В расплавленном Оливиновом поясе нужно различать три слоя: ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на землю в осенние ночи, и, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть.

Эти три слоя Оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного, до жидкого состояния, газа гелия, получающегося как продукт атомного распада.

И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около двухсот семидесяти трех градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства.

Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева,—это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла.

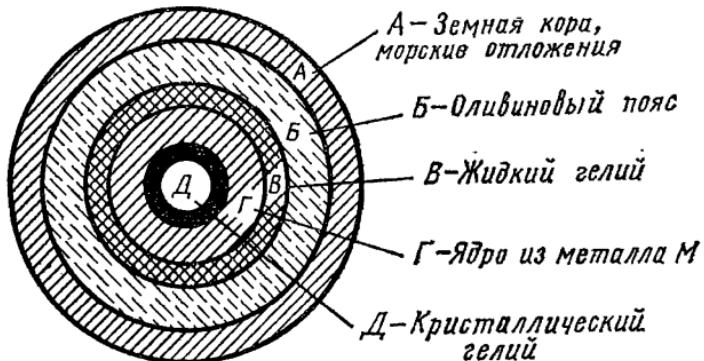
Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл *M*. Он в одиннадцать раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силы радиоактивностью. Если один килограмм этого металла извлечь на поверхность земли,— все живое на несколько километров в окружности будет убито, все предметы, покрытые его эманацией¹, будут светиться.

Так как удельный вес земного ядра составляет всего восемь единиц (удельный вес железа), что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл *M* находится в ядре земли под давлением в миллион атмосфер, в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод:

Ядро земли представляет пустотелый шар, или бомбу, из металла *M*, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии.

¹ Излучением.

В разрезе земной шар таков:



Металл *M*, составляющий ядро земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро земли прогревается. Через несколько миллиардов лет земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар, диаметром с орбиту, которую описывает луна вокруг земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира.

Земля снова будет, не переставая, прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой.

Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление...»

Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.

99

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до трехсот градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине пяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик — двадцать метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуховых и отводных труб, креплений, сети проводов, дюоралюминиевых колодцев, внутри которых двигались чёрпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром, — она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчертывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углами из шамонита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в чёрпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

100

Дворец в северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары, — в них находились заряженные гиперболоиды, угрожающие подступам с океана.

Лестницы поднимались до открытой террасы, — с нее два глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скромно украшенный, с высокими, узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо.

Двое бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на сто пятьдесят метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира.

Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был намечен знаменитый балетный постановщик — русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой, с бриллиантами на белой ленте, орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (*chevalier de lit*).

Кроме этих внутренних — дворцовых — законов, ею создавались, совместно с Гарином, «Заповеди Золотого века» — законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят, — ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки (он был объявлен выше этикета, его привычки — священны и вне подражания). Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не поняли стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу, — посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас, — скаля зубы, отвечал Гарин, — но ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя: я слишком академичен. Идеи, не насыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее персизыбток.

Он покосился на Зою, — она стояла перед ним, бледная, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости.

— Я многого не могу простить людям.

— Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За пятьсот франков небось вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан. А бессонные ночки, когда в сумоч-

ке — два су, и ужас, что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга — чего-нибудь да стоит.

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись.

— Глупая, смешная женщина, пойми, — такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку, — разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой... Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей... Разве бы я положил к твоим ногам самого себя...

Зоя молча освободилась, движением плеч поправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы.

Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни потеря трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анилин Роллинг».

И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в *любом количестве*. Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте, он перестал ощущать себя царем природы — «гомо сапиенсом». Оставалось только — коллекционировать трубки.

Но он все еще, по настоюнию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анилин Роллинг». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал:

«Курс нервного лечения проходит благоприятно».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ двадцать второго градуса южной широты и сто тридцатого градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров Негодяев.

натора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки и мольчи по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками, и прочее и прочее заказывались (американским заводом) также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные национальные костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сырцовые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные ботинки, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами, и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было пятнадцать человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки.

Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои — белого сукна короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку, — поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалованье. Иные посыпали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и Луна-парк. Там же функционировали пятнадцать домов терпимости, выдержаные также в национальном вкусе.

Рабочим было известно, для какой цели пробивается в глубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

— Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио: два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит — война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться уморить нас голодом. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. Триста пятьдесят миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалование, и, если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжение семи дней мы обязаны достать деньги.

Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал, с усмешечкой покачиваясь на каблучках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашляв, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни.

— Так,— подтвердил Гарин,— таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится по крайней мере одновременная работа трех гиперболоидов: один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников.

Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Ему, Шельге, второму человеку доверяю тайну аппарата...

— Ошиблись, товарищ,— ответил Шельга, снимая с плеча руку,— отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте,— сами догадаетесь.

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело милое, что и говорить. Не могу.

— Почему, черт возьми?

— Как почему?.. Потому что путь скользкий...

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю.

Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня,— «Аризона» стоит под парами,— утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим.

Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы П. и Г.

Зашелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана и, рыча, стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строем.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот слабо донеслось туканье пулемета: нашупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули,— это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова — так-так-так-так,— застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и, один за другим, все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна. Замигали до самого горизонта огни: что случилось?

Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра — поперек кильватерной линии — черно-рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ. Берегись, газ». Рявкнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостики, на бронебойные башни упали, разорвались газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе,— противогазы оказались малодействительны. Флагманский корабль был атакован неизвестным газом.

Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три

залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов,— все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасли огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны о стальные борта да пели в вышине самолеты.

Наконец-то!.. Так-так-так-так — из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов... Затем — будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко: из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, вся охваченная пламенем, упала за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлены газами насмерть двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Него-дяев.

Ответ морского министра пришел через сутки: идти к указанному острову и сровнять его с волнами океана.

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. (Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль.) — Ну, что, милостивые государи?.. Могу поздравить... Блокады больше не существует... Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарин. — Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или струсили бомбардировки?.. Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась... Ведь как-никак воюем на ваши денежки.

Гарин коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками.

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу... Прошу почтить вставанием двенадцать погибших, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову, в круглых цифрах, будет равен миллиарду килограммов живой силы.

— Тем лучше, тем лучше, — прошептал, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа, — мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение: газ под назва-

нием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», мистер Гарин! — хрипло крикнул Роллинг. — Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным крестом».

Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал разывать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на третьи сутки.

105

«Аризона» подняла пиратский флаг. Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовым костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зои — спальня, ванная, туалетная, салон — заперто было на ключ. Зоя помешалась наверху, в капитанской рубке, вместе с Янсеном. Прежняя роскошь — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов рольсрайс, «Аризона» летела, как альбатрос, — с гребня на гребень по взолнованному океану.

106

- Ветер подходит к семи баллам, капитан.
- Убрать марселя.
- Есть, капитан.

— Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.

— Есть, капитан.

— Будут замечены огни, — немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж — пиратством жили предыдь. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту.

Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Низкая комфорtabельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта — строгое жилище одинокого моряка — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча дьяволов... Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками, — один чулок как будто еще хранил форму ноги.

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик.) Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмуглленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка!

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может, — на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков и великолепных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он

забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, поживая на мостице под теплыми звёздами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда — после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсену теперь дико было даже вспоминать, — неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели какие-то несколько минут, половина выкуренной папиросы, отделяли его от немыслимого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то — за границами разумного — все пело и тосковало от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, — те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеневой мачте. У такой мачты Янсен-пращур и пел о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль, — проходят годы, и глаза ее как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена.

Стоя в каюте, пахнущей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыл глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел давнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.

— Капитан!.. (Стук в дверь.) Капитан!

— Янсен! — Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, —

вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога, — сказала мадам Ламоль, — а вы спите...

В дверь опять стукнули, и — голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта, вдали, над волнами покачивались два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен скомандовал отчетливо:

— Аврал! Свистать всех наверх! Убрать паруса!

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Заскрипели блоки. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Идя теперь на одних моторах, «Аризона» сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно — двухтрубный пакетбот.

Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шее — мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так как сильно качало, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером.

— Нападем! — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах «Аризона» была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завыла сирена. «Аризона» без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк-Геральд» это неслыханное дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостице и шартили биноклями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход. И вдруг мы увидели это... на нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер, на корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это — «Летучий голландец»... На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски:

«Остановить машины. Погасить топки».

Наш капитан ответил:

«Раньше чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает».

С корабля крикнули:

«Приказывает королева Золотого острова».

Мы были ошеломлены, — что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри?

Капитан ответил:

«Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна».

Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый, и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены.

Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике

пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком.

Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли десять миллионов долларов, — все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, на нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила к рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам:

«Можете свободно продолжать путь».

Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом».

108

События последних дней — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г.» и приказ по флоту о бомбардировке — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чемак расклеил по острову правительственные сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сорища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «Тех, кто грудью поддержит в эти дни

Гарина, — говорилось в сообщении, — тех ожидает скатое богатство. Малодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть».

Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтные рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалованье (это был день получки) и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться бело-желтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору:

«Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоцикlette помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих — красных и встреваных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака,

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать... Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите... Вы — осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах.

— Шельга, настал час, я его предвидел, — один вы можете овладеть движением, спаси дело... То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.

— Ну-да, — сказал Шельга, — давно бы пора понять...

— К черту с вашей политграмотой... Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте отказаться! — торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. — Коротко: если нет — я стреляю... Да или нет?

— Нет, — сказал Шельга, косясь на револьвер. Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску:

— Дерьмо собачье, сволочь...

— Ага, значит, согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие...

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шайку ваших провокаторов...

— У меня нет провокаторов, — быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно, — вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделано. Считайте их утопленными. (Гарин быстро помечал карандашом на блокноте.)

— Последнее, — сказал Шельга, — полное невмешательство в мои отношения с рабочими.

— Ой ли? (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку.) Согласен. Придет время, — я вам все равно обломаю бока. Что еще?

Шельга, сощурясь, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку.

— Я. Что? Радио?

Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз вкось усмешкой.

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль, «Аризона» всего в четырехстах милях на северо-западе.

— Ну что же, это упрощает, — сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел.

Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта.

Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса,—спасала только скорость падения.

На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер тридцать семь. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера номер тридцать семь, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановившись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепанным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались,—молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски,—сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые

стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить:

— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насилиственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных — «царей жизни», остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, — да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина... Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент: чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется тугу, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин — плохо, одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними сговорится — тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи, — сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите, — до конца, свирипо, — тогда я — ваш вождь... Выбирайте единогласно... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянулся угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, — сильно почесал в затылке...

— Если не верите, — еще буду разговаривать.

К столу подошел голый по пояс, весь в саже, племистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим, — сказали остальные. Через многовесную гранитную толщину долетело по телефонам: «Верим, верим».

— Ну, верите, так ладно, — сказал Шельга, — теперь по пунктам: национальные границы к вечеру убе-

рут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец,— мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопим,— это я первым условием поставил. Теперь задача — как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

110

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карabinов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка — береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки.

Океан был спокоен в туманном мареве. В небе пели воздушные винты.

Поднялось солнце туманным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров — как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок.

Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали, с карабинами за спиной, гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как круже́во, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту: буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающее.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать! Будь проклято золото! Затем часы на крыше замка пробили восемь. И тогда по океану покатился грохот — тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов.

111

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов: не менее девяноста стальных дьяволов, начиненных меленитом и наривным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. (Он давно подготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались в море, взлетев взрывными столбами. Громыхнули. Недолет.

Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался, — это было заметно по движениям меридиональных шелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро — направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенсне все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насыщивание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштанники цвета семги, шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мышками. Он был, как женщина, белый телом, сытенький, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он попробовал ногой воду, присел по-бабьи на встречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что, тоже купаться собирались? Холодно, черт его дери.

Он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо него торжествующе прошел этот его победитель — голый бесстыдник.

Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся:

— Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.

112

Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан, — стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы.

Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого

аппаратом, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе.

Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы, — залпом выпил несколько стаканов вина:

— Вот теперь только понимаю, до чего проголосился.

— Вы хорошо поработали, мой друг, — тихо сказала Зоя.

— Да. Признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом... Они меня все-таки опередили... Черти... Возьми они на один кабельтов дальше — от этого дома, чего там — от всего острова остались бы пух и перья...

Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо.

— Ну, как, дядя? — Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. — Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?

Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров, опустил глаза:

— Говорите, я вас слушаю.

— Давно бы так... Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь — помните? Впрочем, я вас не виню: вы не мыслитель, вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляйтесь? Объясню. Я — организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого — коммунисты вас съедят с маслицем и еще сплюнут не без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу... Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу... Вы вправе спросить, для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами неисчерпаемое золото?

— Да, спрошу, — хрипло проговорил Роллинг.

— Дядя, выпейте стакан джину с кайенским перцем; это оживит ваше воображение. Неужели вы хотели на минуту могли подумать, что я намерен превра-

тить золото в навоз? Действительно, я устрою не- сколько горячих денечков человечеству.. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов¹.

Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молodo блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой...

— Ага! — каркнул он.

— То-то — ага. Поняли, наконец?.. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще триста таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей,— выбирайте название по своему вкусу,— возьмем мир за глотку... Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот... Все, что нам нужно и что пригодится,— будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен, золото в наших руках и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости.

Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула, рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицо побагровело.

Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала: не хватит ли старика удар.

— Ага! — снова каркнул он.— Идея смела... Вы можете рассчитывать на успех... Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов...

— Это учитываю в первую голову,— резко сказал Гарин.— Для начала мы построим громадные концентрационные лагери. Всех недовольных нашим режимом — за проволоку. Затем — проведем закон о мозговой кастрации. Итак, дорогой друг, вы избираете меня вождем?.. Ха! (Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно.)

Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать.

— Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?

— А вы как думали, дядя? На коленях, что ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня как спасителя:

¹ Около шести копеек.

— Очень хорошо,— сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку.

— Очень хорошо,— повторил Гарин.— События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение трехсот королей. Вы напишете им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к «золотой панике». (Он щелкнул пальцами; подскочил ливрейный лакей.) Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот... Ну что, брат, а Муссолини какой-нибудь — щенок...

Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была пришпорена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

113

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом: показалось,— а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке? «Колосс оказался на глиняных ногах,— писали в газетах,— не так-то просто за воевывать мир...»

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях «Аризоны» внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов, Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары.

Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного

флотов,— войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой,— это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого), покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судно, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бое,— подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюмовые орудия были бесполезны против световой башни острова Негодяев.

Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было: «Все люди суть дети одного бога, подумаем о мирном процветании человечества».

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

114

Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей.

Миновали восемнадцать поясов земной коры — восемнадцать слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

На заре последующей — мезозойской — эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях Шахты, находили остатки птиц, еще выше — млекопитающих. А там уже близился ледниковый период — суровое снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний, девятнадцатый, слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал ноготь от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболоидов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых пояс рабочих, в круглых шлемах, с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперболоидов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система — «железный крот», — построенная по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «кротовой» системы. Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой

выли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

«Тяжелые шлаки. Лава».

Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота». Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком:

«Ускорение силы тяжести поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98, вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07...»

«Магниты?» — написал Гарин.

Шефер ответил:

«Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля».

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь Оливиновый пояс.

115

— Ну, как, Иван, здоровьишко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белея пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд бы

остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и, ко всему, душа его была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок. Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов, или бродил по острову, среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей,— глаза его с тоской нет-нет да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала Советская родина.

— На дворе ночь,— говорил он тихим голосом,— у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага.

Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван,— однажды весело сказал Шельга,— ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только надо будет сначала одну штуку отгвоздить.

— Готов.

— Ты лазить ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровые кедры лазил за шишками, влезешь,— земли оттуда не видно.

— Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана.

Стены шахты, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр,— все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносились по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечение и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента *M*.

Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород.

Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов,— по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозь Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно,— приборы

указывали на присутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с «Аризоны». Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани «Аризона» была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и в свою очередь атаковала искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото (по атомному весу — 197,2 и номеру — 79) лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слой металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин

и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!

Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото! — крикнул он, хохоча. — Мы просто бараны головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!.. Глядите же! — Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. — В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!

117

Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. «Железный крот» был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегала система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпираемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото.

Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до ста миллионов долларов в сутки.

«Аризоне» был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой.

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости,— ответили помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именно?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много,— ответили помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам, и просто на тротуарах мелом, появилось сообщение:

«Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов, в виде начала мирных торговых сношений, пять кораблей, груженных червонным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене два с половиной доллара за килограмм. Желающие могут получить их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее...

Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением. Гарин».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес это было самое настояще золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмущались. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакции тридцати двух газет.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по два с половиной доллара за кило».

Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями

и кричала: «Бруски, бруски, бруски!..» Золото пролавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники, вместо того чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брускочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хищничали по городу.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с боем. Была величайшая расстерянность в этой волне человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственные распоряжение: «Заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой,— одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом.

Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой.

В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но исключительно уверенный голос:

«Американцы! С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Аме-

риканцы, я совершил много преступлений, но все они ведут меня к одной цели: счастью человечества. Я присвоил кусок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Американцы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые «Аризона» реквизировала на судах и банках в порядке обычая военного времени. Я прошу только одного — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и луна-парках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар. Но этого он не добьется...»

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных, нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По приме-

ру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели — обратно на восток — кучки счастливцев, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов.

Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватали, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

В Сан-Франциско прибыли еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» — «гроза морей». Под защитой ее двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трущобами, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумастся продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа,— хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? — спрашивали.— Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно... Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина... В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха,— право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президент. Сели. Молчали. Ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук — бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода,— так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

— Джентльмены... Я — Гарин... Я принес миру золото...

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя.

— Но, мой друг, Гарин сходит с ума, — сказала она Янсену, — он обесценивает золото... он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? Не понимаю.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

— Ничего не понимаю.

— Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гарином было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

— Превосходно... но сколько же они асигниуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

— Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете...

— Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это все глупо!.. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес... Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят острова с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге бстро-

ва будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих пла-нов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы...

Янсен вытянулся на золоченом стульчике:

— Мадам Ламоль...

— Подождите,— нетерпеливо перебила она,— через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трех настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты...

— Мадам Ламоль,— сказал Янсен умоляюще,— я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостице под звездами.

Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным.

— Не знаю, Янсен, не знаю,— проговорила она, касаясь другой рукой его затылка,— иногда мне начинает казаться, что счастье — только в погоне за счастьем... И еще — в воспоминаниях... Но это в минуты усталости... Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен... Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо... Вспомните... Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зой»... (Она засмеялась и скала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне — разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море,— я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы — один над другим — уступами, один другого прекраснее... И множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостиц и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда.

Вы не знаете женщин, Янсен... Мы легкомысленны, мы расточительны... Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания... Я побежала за нищим Гарином. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь... С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце... (Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку.) Я знаю — один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой...»

120

В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание:

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам — полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибуналам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюры была революция.

Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прика-

жет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это взвывание,— часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами... Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

— Революция — это высшая стратегия. А стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы... Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами — шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку.

— Баста! — сказал он густым голосом.— Довольно болтовни. За дело, ребята!..

тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:

— Папиросу.

От этой русской привычки — курить натощак — он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни — роковой случайностью, другие — неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору полу мира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

— Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму:

— Просите.

Вошел секретарь, достойно три раза — у дверей, посреди комнаты и близ кровати — поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

— Садитесь, — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Петр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

— Что нового? — спросил Гарин. — Как золотой курс?

— Поднимается.

— Туговато все-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

— Да, вяло. Все еще вяло.

— Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

— Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, — казалось, прислушивался к шагам истории.

— Мерзавцы! — последний раз повторил Гарин. — Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни... Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуроں на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената...»

Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

— Еще что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул:

— Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

— Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями? Что?

— Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнявшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

— Эти прохожие были все же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта — единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

— Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

— Узнать имена торговцев, — продиктовал Гарин, — в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.

— Второе покушение произошло также в парке, — продолжал секретарь. — Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

— Молоденькая?

— Пятидесяти трех лет! Девица.

— И что же толпа?

— Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.

— Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что сице?

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырем помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочкиами, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног — две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плеши. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею — запахом роз, за ушами — шипром, виски — букетом Вернэ, около губ — веткой яблони (греб эпл), бородку — тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было уменье выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин

брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

«Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки... Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете (наименование) ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью...»

Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек, с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать... Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой — все только затем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни.

— Тьфу ты, черт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, теплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать — брошу к твоим ногам мир... И вот Гарин — победитель. Мир — у ног. Но Зоя — далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлестел от него... Издавай декреты,

выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях... Вот черт!.. Хорошо бы потребовать коньяку...

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом:

— Автомобиль господина диктатора подан.

• • • • • • • • •

В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и сняли на кино его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен офф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плонул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плонет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, — думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, — поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче...» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчина он ничего такого решительного не поднесет... А на банкет сейчас поедет из зала сената...

• • • • • • • • •

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться — кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицей-

ских,— Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посыпал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчина. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться,— каким ножом и вилкой что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь,— из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению — держал себя за столом образцово.

После черепахового суда начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи:

«Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на по-

давление безнравственных попыток черни к ниспроповержению существующего строя...» И так далее...

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литьев и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

— В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

— Так,— сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) — Еще что?

— В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь...

— Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

— Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того — газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы...

— Вы правы. Я еду.— Гарин позвонил.— Ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена.— Некоторое время он ходил, вернее — бегал по ковру.— Еще что?

— В приемной несколько дам ожидают аудиенции.

— Не принимаю.

— Они ждут с полудня.

— Не желаю. Отказать.

— С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить: это дамы высшего общества. Три знаменных писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница.

— Хорошо... Просите... Все равно какую-нибудь...

Гарин сел к столу (налево — радиоприемник, направо — телефоны, прямо — труба диктофона). При-

двинул чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался...

«Зоя,— начал писать он по-русски твердым, крупным почерком,— друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака...»

— Тс-с-с,— послышалось у него за спиной.

Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь,— посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее. Пожал плечами.

— Раздевайтесь! — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.

• • • • •

Без четверти восемь Гарин поспешил подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зон, явственный, но неживой, точно с другой планеты, повторял по-русски:

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... На острове восстание. Большой гиперболоид захвачен... Янсен со мной... Если удастся,— бежим на «Аризоне».

Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь, с цилиндром и тростью Гарина, ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты...»

• • • • • : : :

Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку стодолларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом: это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря:

— Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину.

У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колюче взглянули на Гарина:

— Но, господин диктатор...

— Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел.

Секретарь мгновенно исчез за дверью.

Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в рягалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул... «Уноси ноги, Пьер Гарри, уноси ноги поскорее», — проговорил он самому себе шепотом.

122

События на Золотом острове начались к вечеру двадцать третьего июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.

В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с бараков и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани, против дворца прыгала на волнах «Аризона».

Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начались. Из шести тысяч рабочих осталось около пяти сот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опустевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволок, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. Но было строгое распоряжение Гарина: ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствola большого гиперболоида.

В казармах шла отчаянная игра. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или на «раз-два по морде». К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину,— какое там,— просто приличие.

— Господа офицеры, стыдно,— гремел ежевечерне голос генерала Субботина в офицерской столовой,— опустились, господа офицеры, на полу наблевано-с, воздух как в бардаке-с. В кальсонах изволите щеголять, штаны проиграли-с. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с.

Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день штурма двадцать третьего июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, навеял давние воспоминания, заныли старые раны. Водяная пыль била дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесаные, немытые, пели вражескую песню: «Эх, яблочко, куды котисся...» И песня эта, черт знает из какой далекой жизни завезенная на затерянный среди волн островок, казалась щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, воздействуя,— послал всех к чертям свинячьим, напился сам.

Разведка Ревкома (в лице Ивана Гусева) донесла о тяжком положении противника в казармах. В седь-

мом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гауптвахте (перед казармами) и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки.

Сто человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох, гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестницах, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались врукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало,— один на пятерых,— но они молотили, как цепами, мозольными кулачищами изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окон. В нескольких местах вспыхнул пожар, казармы заволокло дымом.

123

Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипением обрушивался прибой на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге.

Он побежал вниз, на половину Гарина, летел саженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена. Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита?

Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, установленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящички и шкафчики с катодными лампами, про-

вода динамо, письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его,— он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперболоида и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню,— как было не догадаться!

Он оглядывался, ища эту дверцу. Но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, за стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскочил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками.

— Янсен!

Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша.

— Мы погибли, Янсен, мы погибли! — повторила она.

На ней было черное платье. Руки, узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала:

— Лифт большого гиперболоида не действует, лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи по перекладинам... Я уверена, что это — мальчишка Гусев...

Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвигались. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль. Возня. Торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник; мягко завыло динамо, лилово засветились грушевидные лампы. Застучал ключ, посыпая сигналы.

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона.

Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног.

— Отворите дверь! Отворяй!.. — раздались голоса.

Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонок неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль

моль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место.

• • • • •

После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал прибой. Грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гривы пены и — далеко — огоньки танцующей «Аризоны». Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет.

— Смотрите, — откинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль, — там свет! Это смерть!

Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов, болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер.

— Скорее, скорее, Янсен!

Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича: «Стой, стой!»

Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю.

Описав кругую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы.

• • • • •

— Трап, черти соленые! — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом «Аризоны». — Где старший помощник? Спит! Повешу!

— Здесь, здесь, капитан. Есть, капитан.
— Руби канаты! Включай моторы! Полный газ!
Туши огни!

— Есть, есть, капитан.

Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен сilitся встать, и падает как-то на бок, и судорожно ловит брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером, и снова вынырнуло его отплевывающееся лицо, искаженное гримасой боли.

— Янсен, что с вами?

— Я ранен.

Четыре матроса спрыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту.

Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, «Аризона» уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостице, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье обледило ее. Она глядела, как разгорается зарево (горели казармы) и черный дым, проверченный огненными спиральами, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав:

— Поверните на юго-запад...

— Здесь рифы, мадам.

— Молчать, не ваше дело!.. Проходите, имея остров на левом борту.

Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее, мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку.

На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда,— это работал большой гиперболоид, нашупывая «Аризону».

Мадам Ламоль решила драться, все равно никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в четыреста километров. Но теперь он упорно нашупывал западный сектор оксана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара.

«Аризона» шла полным ходом в семи милях вдоль

острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль была ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр взносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда «Аризона» поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче-белая игла заплясала вокруг нее, ударяя сверху вниз, зигзагами, и удары, совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом.

Зое казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты «Аризоны», корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нашупав прицел, взвился, затрепетал, точно примериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце.

Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула «Аризона». «Это еще не смерть», — подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли.

Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню, — должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой «Аризона» могла спокойно уходить.

Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно... Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую спичку, закурила.

«Аризона» уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посыпала условные сигналы, пытаясь связаться с Гарином, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои: «Что делать,

куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний».

Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась «Аризона» — «гроза морей».

124

Облака горящей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров.

Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая поскрипывали черпаки элеваторов.

Затем в тишине раздалась музыка: торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни две людей: они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток.

Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с «Аризоной». Взобравшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нашупал «Аризону» среди огромных волн.

Огненный шнур с «Аризоны» плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы, деревья. «Гадюка», — шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком.

Он поймал «Аризону» на фокус и бил лучом по воде перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с «Аризоны» превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида...

— Спи спокойно, Ванюша, ты умер как герой, — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб.

Трубы заиграли, и голоса двухсот человек запели «Интернационал».

Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернулся на запад...

125

— Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор...

Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой.

Секретарь сказал с усмешкой:

— Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор...

Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.

— Прошу,— сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел, Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба.— Благоразумнее подчиняться, господин секретарь...

126

Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен.

Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна.

Желание Янсена сбылось,— он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь,— сквозная пулевая рана в живот,— и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой.

Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним. Спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением

век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.

— Друг мой, друг мой единственный,— проговорила она с тихим отчаянием,— вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет... Какой холод, какой холод!..

Янсен не отвечал, только движением век будто подтвердил о наступающем холода. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо...»

Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки.

127

Секретарь — самый элегантный человек в Соединенных Штатах — лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер: он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем пошел к низенькой стальной двери. Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв, — дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон.

Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина: привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем — здесь — в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина — русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги.

Он сидел в мягким кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сладости (пить ему не разрешалось). На полу валялись книжки — английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круг-

лый экран телевизорного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла.

— Наконец-то,— сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину.— Куда вы, черт вас возьми, провалились?.. Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпопчитаю голодать в Париже...

Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями.

— Раздевайтесь.

— Зачем? — спросил барон Корф с некоторым любопытством.

— Давайте ваше платье.

— В чем дело?

— И — паспорт, все бумаги... Где ваша бритва?

Гарин подсел к туалетному столику. Не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрив усы и бороду.

— Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните — это ваш личный секретарь. Когда его хватятся, можете сказать, что услали его с секретным поручением... Понятно вам?

— В чем дело, я спрашиваю? — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.

— Я пройду отсюда потайным ходом в парк, к моей машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовете по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры? Я, затем мой первый заместитель — начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель — начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель — начальник отдела провокаций. Затем тайный совет трехсот, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить назубок... Снимайте же брюки, черт вас возьми!.. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший...

— Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я...

— А! В конце концов им наплевать... был бы диктатор...

— Позвольте, позвольте,— значит с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?

— Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе... Я — исчезаю...

Гарин, так же, как давеча в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.

128

Едва только Гарин — один в закрытой машине — помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение: он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели стотысячными толпами... Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток.

Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, прорывающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки... Несомненно, это была работа Шельги...

Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших. Но сейчас он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков: «Долой диктатора! Долой совет трехсот!»

Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыграет революцию, как дирижер — героическую симфонию.

Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него — разносili на весь мир вести о поголовном восстании.

Двойник Гарина, против всех ожиданий Петра Петровича, начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врывались в жилища рабочих, уничтожая все живое.

Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием...

Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная, черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом...

Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор... Мчался всю ночь.

Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон!» — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести...

В пять часов следующего дня его машину обстреляли...

В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей...

Он мчался всю ночь — на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги:

— Победа, победа... Товарищи, в моих руках — страшное орудие революции, — гиперболоид...

Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе; на фанерном щите огромными буквами стояло:

«Товарищи... Диктатор взят живым... Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад... Товарищи, проявляйте бдительность, задержите машину диктатора... (Следовали приметы.) Гарин не должен уйти от революционного суда...»

В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в десяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернулся к лесистым горам. Через

час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору.

Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный, по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора.

В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги.

На четвертый день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анжелоса, где в ангаре висел, всегда наготове, его дирижабль.

129

Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мглистый покров.

Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее — так осунулось ее лицо. Он спрыгнул в шлюпку, с улыбкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке:

— Рад тебя видеть. Не грусти, крошка. Сорвалось — наплевать. Заварим новую кашу... Ну, чего ты повесила нос?..

Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица.

— Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне все — все равно.

Из-за края горизонта поднялось солнце, — огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растворялся, как призрачный.

Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисо-

вались три наклонных мачты и решетчатые башенки «Аризоны».

— Ванну, завтрак и — спать,— сказал Гарин.

130

«Аризона» повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших — овладеть большим гиперболоидом и шахтой.

На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной,— для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову.

Гарин был уверен в себе, решителен, весел,— к нему снова вернулось хорошее настроение.

Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной, десятикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может ураган — тайфун.

Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту.

— Ну, тайфун — ерунда собачья. Прибавьте ходу...

Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено.

Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана — высоких перистых облаков — поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной рябью по огромным волнам.

И вот с востока начала наеззать черная, как овчина, низкая туча, со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными. Волны перекатывались через борт. И уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн,— ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли...

Капитан сказал Зое и Гарину:

— Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут.

Ураган обрушился на «Аризону» со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валяясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или «окну», как его называют моряки.

«Окно», диаметром иногда до пяти километров,— центр вращения тайфуна; ветры силою двенадцати баллов несутся со всех направлений кругом «окна», уравновешивая свои силы на его периферии.

Туда, в такое «окно», уносилась круговоротом жалкая скорлупка — «Аризона».

Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика.

«Аризону» подняло на гребень водяной горы, положило на борт и швырнуло в пучину. И вдруг — ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны — десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской, Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши...

Это и было «окно», самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками перистых облаков — верхних предвестников тайфуна...

С борта «Аризона» было снесено волнами все: шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном...

«Окно», окруженное тьмой и крутящимися ураганами, неслось по океану, увлекая на толчее чудовищных волн «Аризону».

Моторы перегорели, руль был сорван.

— Я больше не могу,— простонала Зоя.

— Когда-нибудь это должно кончиться... О черт! — хрипло ответил Гарин.

Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарина рассечен лоб, Зоя лежала на

полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды.

— Гарин, я не могу, выбрось меня в море...

От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покатилась. Гарин кувырком перелетел через нее, удалился о дверь...

Раздался треск, раздирающий хруст. Грохот падающей воды. Человеческий вопль. Каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину...

• • • • •

Когда Гарин открыл глаза, в десяти сантиметрах от его носа маленький ракок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял: «Да, я жив...» Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел.

Невдалеке, нагнувши тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья... Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны... Несколько десятков пальм простирало по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты... Это было все, что осталось от «Аризоны», разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова.

Гарин, прихрамывая, пошел в глубину островка, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива,— веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились.

• • • • •

На коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях — раковины, мелкие ракушки, полипы, кре-

ветки — все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца.

Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить... И они начали жить на этом островке, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт.

Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с «Аризона» пятьдесят экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль — повелительницы мира...

Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листвьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся сорок девять экземпляров, переплетенных в золото и сафьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра.

Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чём? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество.

Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерце наполнялось свежей дождевой водой. Тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду...

Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом островке. Насевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора, — Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть, тоже переживая во сне разные занимательные истории.

Содержание

Дмитрий Жуков	<i>Фантастическая дерзость</i>	5
Алексей Толстой	<i>Аэлита</i> <i>Гиперболоид инженера Гарина</i>	25 169

Толстой А. Н.

Т 52 Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина /
Вступ. ст. Д. А. Жукова; Ил. С. Базилева.—
М.: Правда, 1986.—448 с., ил.

Во второй том Библиотеки фантастики включены
романы крупнейшего советского писателя А. Н. Толстого
«Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», создан-
ные в двадцатые годы нашего века.

T 4702010200—1052
080(02)—86 1052—86 (подписьное)

84 Р 7

Алексей
Николаевич
Толстой

Аэлита
Гиперболоид инженера Гарина

Редактор	В. Т. Башкирова
Оформление художника	Н. А. Ящука
Художественный редактор	Т. Н. Костерина
Технический редактор	Л. Ф. Молотова

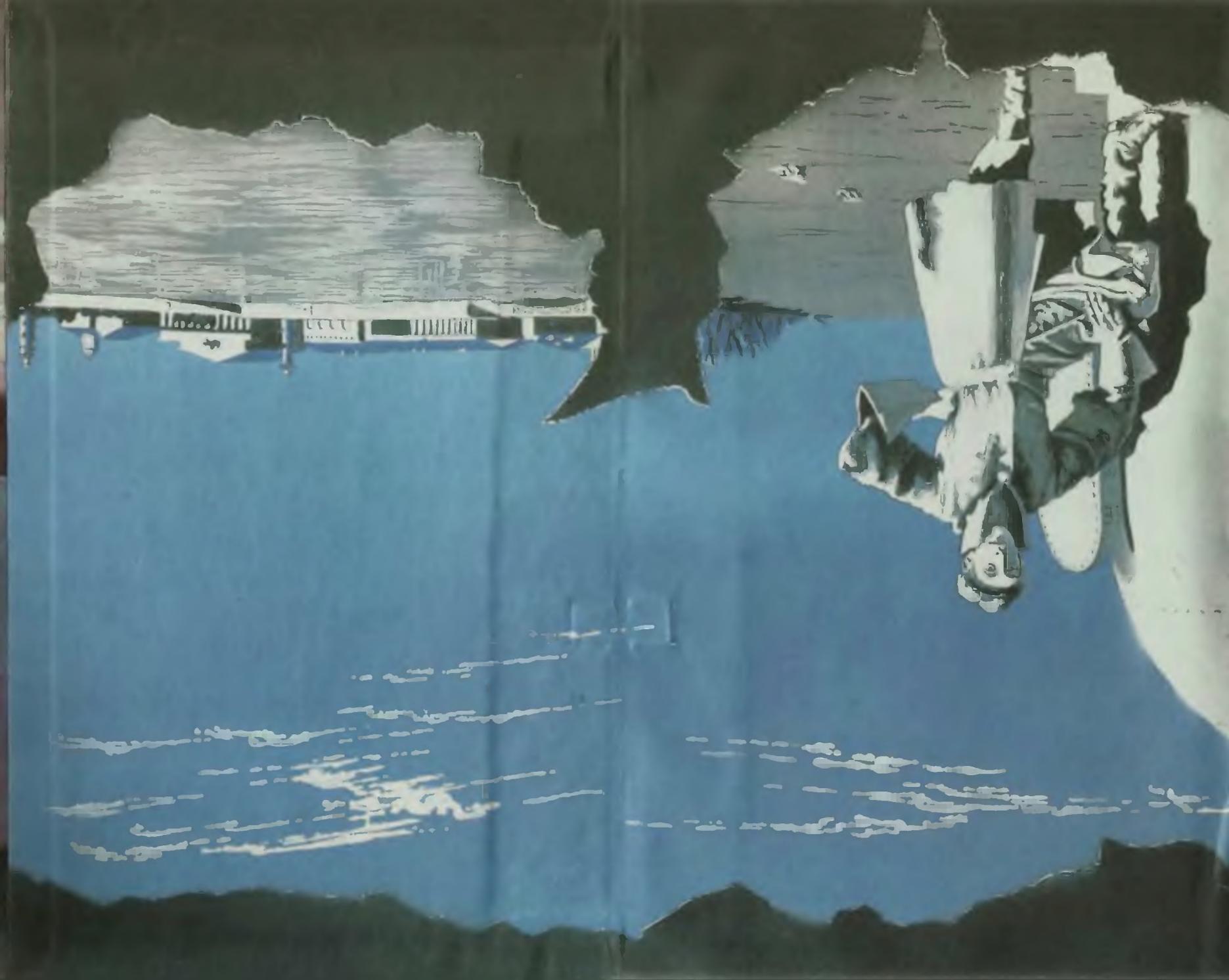
ИБ 1052

Сдано в набор 24.01.86. Подписано к печати 04.03.86. Формат 84×108 $\frac{1}{4}$ з. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,94. Усл. кр.-отт. 26,88. Уч.-изд. л. 25,21. Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—200 000). Заказ № 509. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии «Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.







2 р. 50 к.

Алексей Толстой
Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина

БИБЛIOТЕКА
ДАЧАКИН